В. Г.
БЕЛИНСКИЙ



В.Г. БЕЛИНСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

Александра Пушкина

Москва
«Советская Россия»
1984

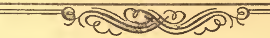
Р1
Б43

Текст печатается по изданию: Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 6. М., Худож. лит., 1981.

Примечания К. И. ТЮНЬКИНА

Художник И. М. ГИРЕЛЬ

Б $\frac{4803010101-242}{М-105(03)84}$ 219—84



Статья восьмая

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин». И эта робость оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение — значит оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина»,— эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С этой точки зрения, даже и то, что теперь критика могла бы с основательностью назвать в «Онегине» слабым или устарелым,— даже и то является исполненным глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но и необходимость в одно и то же время во многих местах «Онегина», с одной стороны, видеть недостатки, с другой — достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или безусловные достоинства и которая не понимает, что условное и относительное составляет форму безусловного. Вот почему некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем Державина, находя в нем великий талант

и в то же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям эстетического вкуса нашего времени[1]. Но в отношении к «Онегину» наши суждения могут показаться многим еще более противоречащими, потому что «Онегин» со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья об «Онегине» будет развитием этой мысли, какою бы ни показалась она с первого взгляда многим из наших читателей.

Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения, «Евгений Онегин» есть поэма *историческая* в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более, как понятливою и переимчивою ученицею европейской музы,— и потому все произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Сам Крылов — этот талант, столько же сильный и яркий, сколько и национально-русский, долго не имел смелости отказаться от незавидной чести быть то переводчиком, то подражателем Лафонтена. В поэзии Державина ярко проблескивают и русская речь и русский ум, но не больше, как проблескивают, потопляемые водою реторически понятых иноземных форм и понятий. Озеров написал русскую трагедию, даже историческую — «Димитрия Донского», но в ней «русского» и «исторического» — одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковский написал две «русские» баллады — «Людмилу» и «Светлану»; но первая из них есть переделка немецкой (и притом довольно дюжинной) баллады[2], а другая, отличаясь действительно поэтическими картинами русских святочных обычаев и зимней русской природы, в то же время вся проникнута немецкою сентиментальностью и

немецким фантазмом. Муза Батюшкова, вечно скитаясь под чужими небесами, не сорвала ни одного цветка на русской почве. Всех этих фактов было достаточно для заключения, что в русской жизни нет и не может быть никакой поэзии и что русские поэты должны за вдохновением скакать на Пегасе[3] в чужие края, даже на Восток, не только на Запад. Но с Пушкиным русская поэзия из робкой ученицы явилась даровитым и опытным мастером. Разумеется, это сделалось не вдруг, потому что вдруг ничего не делается. В поэмах «Руслан и Людмила» и «Братья разбойники» Пушкин был не больше, как учеником, подобно своим предшественникам,— но не в поэзии только, как они, а еще и в попытках на поэтическое изображение русской действительности. Этим ученичеством и объясняется, почему в «Руслане и Людмиле» так мало русского и так много итальянского, а «Разбойники» так похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Жених», написанная им в 1825 году, в котором появилась и первая глава «Онегина». Эта баллада, и со стороны формы и со стороны содержания, насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз больше, чем о «Руслане и Людмиле», можно сказать:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

Так как эта баллада и тогда не обратила на себя особенного внимания, а теперь почти всеми забыта, мы выпишем из нее сцену сватовства:

Наутро сваха к ним на двор
Нежданная приходит.
Наташу хвалит, разговор
С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец,
Собою парень молодец,
И статной и проворной,
Не вздорной, не зазорной.

Богат, умен, ни перед кем
Не кланяется в пояс,
А как боярин между тем
Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
И перстни золотые,
И платья парчевые.

Катаясь, видел он вчера
Ее за воротами;

Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом
Да речь ведет обиняком,
А бедная невеста
Себе не видит места.

«Согласен,— говорит отец,—
Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец:
Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не все касатке распевать,
Пора гнездо устроить,
Чтоб детушек покоить».

И такова вся эта баллада, от первого до последнего слова! В народных русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности, сколько заключено ее в этой балладе! Но не в таких произведениях должно видеть образцы проникнутых национальным духом поэтических созданий,— и публика не без основания не обратила особенного внимания на эту чудную балладу. Мир, так верно и ярко изображенный в ней, слишком доступен для всякого таланта уже по слишком резкой его особенности. Сверх того, он так тесен, мелок и немногосложен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произведения были односторонни, однообразны, скучны и, наконец, пошлы, несмотря на все их достоинства. Вот почему человек с талантом делает обыкновенно не более одной или, много, двух попыток в таком роде; для него это — дело между прочим, затеянное больше из желания испытать свои силы и на этом поприще, нежели из особенного уважения к этому поприщу. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», не превосходя пушкинского «Жениха» со стороны формы, слишком много превосходит его со стороны содержания. Это поэма, в сравнении с которою ничтожны все богатырские народно-русские поэмы, собранные Киршею Даниловым. И между тем «Песня» Лермонтова была не более, как опыт таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтов никогда ничего больше не написал бы в этом роде. В этой песне Лермонтов взял все, что только мог ему представить сборник Кирши Данилова,— и новая попытка в этом роде была бы по необходимости повторением одного

й того же — старые погудки на новый лад. Чувства и страсти людей этого мира так однообразны в своем проявлении; общественные отношения людей этого мира так просты и не сложны, что все это легко исчерпывается до дна одним произведением сильного таланта. Разнообразие страстей, тонкие до бесконечности оттенки чувств, бесчисленно многосложные отношения людей, общественные и частные,— вот где богатая почва для цветов поэзии, и эту почву может приготовить только сильно развивающаяся или развившаяся цивилизация. Произведения вроде «Jeanne»* Жоржа Занда возможны только во Франции, потому что там цивилизация, в многосложности ее элементов, все сословия поставила в тесное и электрически взаимодействующее отношение друг к другу[4]. Наша поэзия, напротив, должна искать для себя материалов почти исключительно в том классе, который, по своему образу жизни и обычаям, представляет более развития и умственного движения. И если национальность составляет одно из высочайших достоинств поэтических произведений,— то, без сомнения, истинно национальных произведений должно искать у нас только между такими поэтическими созданиями, которых содержание взято из жизни сословия, создавшегося по реформе Петра Великого и усвоившего себе формы образованного быта. Но большинство публики до сих пор понимает это дело иначе. Назовите народным или национальным произведением «Руслана и Людмилу»,— и с вами все согласятся, что это действительно и народное и национальное произведение. Еще более будут согласны с вами, если вы назовете народным произведением всякую пьесу, в которой действуют мужики и бабы, бородатые купцы и мещане или в котором действующие лица пересыпают свой незатейливый разговор русскими пословицами и поговорками и, вдобавок, пропускают между ими реторические, на семинарский манер, фразы о народности и т. п. Люди более умные и образованные охотно (и притом весьма основательно) видят народную русскую поэзию в баснях Крылова, и даже готовы видеть ее (что уже не так основательно) не только в сказках Пушкина («О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях»), но и (что уже вовсе неосновательно) в сказках Жуковского («О царе Берендее до колен борода» и «О

* «Жанны» (*фр.*). — *Ред.*

спящей царевне»). Но немногие согласятся с вами, и для многих покажется странным, если вы скажете, что первая истинно национально-русская поэма в стихах была и есть — «Евгений Онегин» Пушкина и что в ней народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении. А между тем это такая же истина, как и то, что дважды два — четыре. Если ее не все признают национальною — это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете — уже не русские и что русский дух дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. В этом случае у нас многие, даже и между так называемыми образованными людьми, бессознательно подражают русскому простонародью, которое всякого чужестранца из Европы называет *немцем*. И вот где источник пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечились! Все европейские народы развивались как один народ, сперва под сению католического единства, духовного (в лице папы) и светского (в лице избранного главы священной Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же стремлений к последним результатам цивилизации,— однако тем не менее между французом, немцем, англичанином, итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная разница, как и между русским и индийцем. Это струны одного и того же инструмента — духа человеческого, но струны разного объема, каждая с своим особенным звуком,— и потому-то они издают полные гармонические аккорды. Если же народы Западной Европы, все равно происходящие от великого тевтонского племени, большею частию смешавшегося с романскими племенами, все равно развившиеся на почве одной и той же религии, под влиянием одних и тех же обычаев, одного и того же общественного устройства, и потом все равно воспользовавшиеся богатым наследием древнеклассического мира,— если, говорим, все народы Западной Европы, составляющие собою единое семейство, тем не менее резко отличаются один от другого, то естественное ли дело, чтобы русский народ, возникший на другой почве, под другим небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на историю ни одного западноевропейского народа, естественно ли, чтоб русский народ, усвоив себе одежду и обычаи европейские, мог утратить свою национальную самобытность и походить, как две капли воды,

на каждого из европейских народов, из которых каждый друг от друга резко отличается и физическою и нравственною физиономиею?.. Да это нелепость нелепостей! хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особности племени или народа заключается в почве и климате занимаемой им страны; а много ли на земном шаре стран, одинаковых в геологическом и климатологическом отношениях? И потому, чтобы напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их национальности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материк России превратить в гористый; бесконечное его пространство сделать меньшим по крайней мере в десять раз (за исключением Сибири). И много, кроме того, нужно бы сделать такого, чего нельзя сделать и о чем фантазировать на досуге прилично только господам Маниловым. Далее: бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью! Наши самозванные патриоты не видят, в простоте ума и сердца своего, что беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда победоносным русское войско, если не тогда, как Петр Великий одел его в европейское платье и приучил его сообразной с этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно видеть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисциплинированных, по случаю войны недавно оторванных от избы и сохи,— как-то естественно видеть их бегущими в беспорядке с поля битвы; — точно так же, как естественно видеть полки солдат, даже и при военной неудаче, или храбро умирающими на поле битвы, или отступающими в грозном порядке. Некоторые из горячих славянолюбов[5] говорят: «Посмотрите на немца,— он везде немец, и в России, и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его судьба; а русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии — немец». Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспоривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси. Этим свойством русский человек отличается и от всех других славянских племен, и, может быть, ему-то и обязан

он своим превосходством над ними. Известно, что наши русские солдаты — удивительные природные философы и политики и нигде ничему не удивляются, но все находят очень естественным, как бы это *все* ни было противоположно их понятиям и привычкам. Чтобы слишком не распространяться об этом предмете, ссылаемся, для краткости, на замечание Лермонтова об удивительной способности русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. «Не знаю (говорит автор «Героя нашего времени»), достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения»[6]. Здесь дело идет о Кавказе, а не о Европе; но русский человек везде тот же. Угловатый немец, тяжеловато-гордый Джон Буль[7] уже самыми их ухватками и манерами никогда и нигде не скроют своего происхождения; и после француза только русский может по наружности казаться просто человеком, не нося на своем лбу национального клейма или паспорта. Но из этого отнюдь не следует, чтоб русский, умея в Англии походить на англичанина, а во Франции на француза, хоть на минуту перестал быть русским или хоть на минуту не шутя мог сделаться англичанином или французом. Форма и сущность не всегда — одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себе, но от сущности своей отрешиться совсем не так легко, как променять охабень на фрак. Между русскими есть много галломанов, англоманов, германоманов и разных других «манов». Посмотришь на них: точно так — с которой стороны ни зайди — англичанин, француз, немец, да и только. Если англоман, да еще богатый, то и лошади у него англизированные, и жокеи, и грумы, словно сейчас из Лондона привезенные, и парк в английском вкусе, и портер он пьет исправно, любит ростбиф и пудинг, на комфорте помешан и даже боксирует не хуже любого английского кучера. Если галломан,— одет как модная картинка, по-французски говорит не хуже парижанина, на все смотрит с равнодушным презрением, при случае почитает долгом быть и любезным и остроумным. Если германоман,— больше всего любит искусство как искусство, науку как науку, романтизирует, презирает толпу, не хочет внешнего счастия и выше всего ставит

созерцательное блаженство своего внутреннего мира... Но пошлите всех этих господ пожить — англоманов в Англию, галломанов во Францию, германоманов в Германию, да и посмотрите, так ли охотно, как вы, поспешат англичане, французы и немцы признать своими соотечественниками наших англоманов, галломанов и германоманов... Нет, не попадут они в соотечественники этим народам, а только разве прослывут между ними притчею во языцех, сделаются предметом всеобщего оскорбительного внимания и удивления. Это потому, повторяем, что усвоить чуждую форму совсем не то, что отрешиться от собственной сущности. Русский за границею легко может быть принят за уроженца страны, в которой он временно живет, потому что на улице, в трактире, на балу, в дилижансе о человеке заключают по его виду; но в отношениях гражданских, семейных, но в положениях жизни исключительных — другое дело: тут поневоле обнаружится всякая национальность, и каждый поневоле явится сыном своей и пасынком чужой земли. С этой точки зрения, русскому гораздо легче прослыть за англичанина в России, нежели в Англии. Но в отношении к отдельным личностям еще могут быть странные исключения; в отношении же к народам никогда. Доказательством могут служить те славянские племена, которых исторические судьбы были тесно связаны с судьбами Западной Европы: Чехия отовсюду окружена тевтонским племенем; властителями ее в течение целых столетий были немцы; развилась она, вместе с ними, на почве католицизма и упредила их и словом и делом религиозного обновления — и что ж? Чехи до сих пор славяне, до сих пор — не только не германцы, но и не совсем европейцы...

Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения неосновательного мнения, будто бы в деле литературы чисто русскую народность должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни низших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения, оглашающего «не русским» все, что есть в России лучшего и образованнейшего,— вследствие этого лапотно-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не национальное произведение; какой-нибудь

площадный роман, вроде «Разгулья купеческих сынков в Марьиной роще», есть хотя и плохое, однако тем не менее национально-русское произведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тем не менее русское, но не национальное произведение... Нет, и тысячу раз нет! Пора наконец вооружиться против этого мнения всею силою здравого смысла, всею энергиею неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного времени, когда псевдоклассическое направление нашей литературы допускало в изящные создания только людей высшего круга и образованных сословий, и если иногда позволяло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе, как умытых, причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдоклассического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдоромантического направления, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном, в курной избе, и что разбитый на кулачном бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта,— а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность[8]. Пора наконец догадаться, что, напротив, русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами,— для этого поэту нужно и иметь большой талант и быть национальным в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами»[9]. Разгадать тайну народной психеи — для поэта значит уметь равно быть верным действительности при изображении и низших, и средних, и высших сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной жизни,— тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет

право на громкое титло национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина и мужика их языком. И если произведение, которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает названия национального,— значит, оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому не только такие произведения, как «Горе от ума» и «Мертвые души», но и такие, как «Герой нашего времени», суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания.

И первым таким национально-художественным произведением был «Евгений Онегин» Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию. И такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе,— такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда, на русском языке было одно прекрасное (по своему времени) произведение, вроде повести в стихах: мы говорим о «Модной жене» Дмитриева; но между ею и «Онегиным» нет ничего общего уже потому только, что «Модную жену» так же легко счесть за вольный перевод или переделку с французского, как и за оригинально русское произведение. Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева, так это, как мы уже и заметили в последней статье, «Граф Нулин»; но и тут сходство заключается совсем не в поэтическом достоинстве обоих произведений. Форма романов вроде «Онегина» создана Байроном; по крайней мере манера рассказа, смесь прозы и поэзии в изображаемой действительности, отступления, обращения поэта к

самому себе и, особенно, это слишком ощутительное присутствие лица поэта в созданном им произведении,— все это есть дело Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственного содержания совсем не то, что самому изобрести ее,— тем не менее, при сравнении «Онегина» Пушкина с «Дон Хуаном», «Чайльд Гарольдом» и «Беппо» Байрона, нельзя найти ничего общего, кроме формы и манеры. Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность существенного сходства между ими и «Онегиным» Пушкина. Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшею и настоящею историею. Повторяем: тут нечего искать и тени какого-либо сходства. Пушкин писал о России для России,— и мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей натуре, совершенно противоположной натуре Байрона, и своему художническому инстинкту, он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пиша русский роман. Сделай он это — и толпа превознесла бы его выше звезд; слава мгновенная, но великая была бы наградою за его ложный tour de force*. Но, повторяем, Пушкин как поэт был слишком велик для подобного шутовского подвига, столь обольстительного для обыкновенных талантов. Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась под перо его. И зато его «Онегин» — в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение. Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова — «Горе от ума»**, стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской лите-

* подвиг (*фр.*) — *Ред.*

** «Горе от ума» было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823 года, но написано *вчерне*. По возвращении в Россию, в 1823 году, Грибоедов подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой отрывок из нее был напечатан в альманахе «Талия», в 1825 году. Первая глава «Онегина» появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было уже готово несколько глав этой поэмы[10].

ратуре. До этих двух произведений, как мы уже и заметили выше, русские поэты еще умели быть поэтами, воспевая чуждые русской действительности предметы, и почти не умели быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни. Исключение остается только за Державиным, в поэзии которого, как мы уже не раз говорили, проблескивают искорки элементов русской жизни, за Крыловым и, наконец, за Фонвизиным, который, впрочем, был в своих комедиях больше даровитым копистом русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем. Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедии Грибоедова, — она, как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык — все насквозь проникнуто глубокою истиною русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано «Горе от ума»,— в этом отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтоб продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссеям[11]. То же можно сказать и в отношении к «Онегину», хотя, впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые, далеко не равные ему, но все-таки замечательные попытки, — тогда как «Горе от ума» до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Пример неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россия выучила наизусть еще в рукописных списках более чем за десять лет до появления ее в печати![12] Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни, неистощимым рудником эпиграфов! И хотя никак нельзя доказать прямого влияния, со стороны языка и даже стиха, басен Крылова на язык и стих комедии Грибоедова, однако нельзя и совершенно отвергать его: так в органически-историческом развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим! Басни Хемницера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто талантливые произведения относятся к гениальным произведе-

циям, — но тем не менее Крылов много обязан Хемницеру и Дмитриеву. Так и Грибоедов: он не учился у Крылова, не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием, чтоб самому идти дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе — стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом, не шагнул бы так страшно далеко. Но не этим только ограничивается подвиг Грибоедова: вместе с «Онегиным» Пушкина его «Горе от ума» было первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до «Онегина» и «Горя от ума», еще и теперь не исчезла из русской литературы. Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь себя на смотрение или на чтение новых драматических пьес, даваемых на русском театре обеих столиц. Это не что иное, как искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою жизнью; это — исковерканные французские характеры, прикрывшиеся русскими именами. На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались одинокими, как и «Горе от ума». Значит: изображать верно свое родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее, чем изображать чужое[13]. Причина этой трудности заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм — за европеизм; другими словами: в том, что *народность* смешивают с *простонародностью* и думают, что кто не принадлежит к простонародию, то есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане, — того должно изображать то как француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из наших литераторов, имея способность более или менее верно списывать портреты, не имеют способности видеть в настоящем их свете те лица, с которых они пишут портреты: мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с оригиналами

и что, читая их романы, повести и драмы, невольно спрашиваешь себя:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим[14].

Таланты этого рода — плохие мыслители; фантазия у них развита на счет ума. Они не понимают, что *тайна национальности* каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтоб верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность,— а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая — ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот прежде всего должен изучить его в его семейном, домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли иметь два такие слова, как например, *авось* и *живет*, а между тем они очень важны, и, не понимая их важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать роман. И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало «Онегина» и «Горе от ума» произведениями оригинальными и чисто русскими.

Содержание «Онегина» так хорошо известно всем и каждому, что нет никакой надобности излагать его подробно. Но, чтоб добраться до лежащей в его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется в молодого петербургского — говоря нынешним языком — льва, который, наскучив светскою жизнию, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо, дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах, что не может ее любить и что не считает себя созданным для «блаженства семейной жизни». Потом, из пустой причины, Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной героини и убивает

его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных мечтах, бедная девушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходит замуж за *генерала,* потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уж нельзя было не выходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее: так переменилась она, так мало осталось в ней сходства между простенькою деревенскою девочкою и великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне; он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему на словах, что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может — по гордости добродетели. Вот и все содержание «Онегина». Многие находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем не кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от чахотки, ни от кинжала), ни свадьбы — этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразностей! Пока Татьяна была девушкою, Онегин отвечал холодностию на ее страстное признание; но когда она стала женщиною,— он до безумия влюбился в нее, даже не будучи уверен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характер у этого человека: холодно читает он мораль влюбленной в него девушке, вместо того чтоб взять да тотчас и влюбиться в нее самому и потом, испросив по форме у ее дражайших родителей их родительского благословения, навеки нерушимого, совокупиться с нею узами законного брака и сделаться счастливейшим в мире человеком. Потом: Онегин ни за что убивает бедного Ленского, этого юного поэта с золотыми надеждами и радужными мечтами,— и хоть бы раз заплакал о нем или по крайней мере проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об окровавленной тени и проч. Так или почти так судили и судят еще и теперь об «Онегине» многие из «почтеннейших читателей»; по крайней мере нам случалось слышать много таких суждений, которые во время оно бесили нас, а теперь только забавляют. Один великий критик даже печатно сказал, что в «Онегине» нет целого, что это — просто поэтическая болтовня о том, о сем, а больше ни о чем[15]. Великий критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы нет ни свадь-

бы, ни похорон, и, во-вторых, на этом свидетельстве самого поэта:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин *в смутном сне*
являлися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал[16].

Великий критик не догадался, что поэт, благодаря своему творческому инстинкту, мог написать полное и оконченное сочинение, не обдумав предварительно его плана, и умел остановиться именно там, где роман сам собою чудесно заканчивается и развязывается — на картине потерявшегося, после объяснения с Татьяною, Онегина. Но мы об этом скажем в своем месте, равно как и о том, что ничего не может быть естественнее отношений Онегина к Татьяне в продолжение всего романа и что Онегин совсем не изверг, не развратный человек, хотя в то же время и совсем не герой добродетели. К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудовищ порока и героев добродетели, рисуя вместо их просто людей.

Мы начали статью с того, что «Онегин» есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась вовремя, то есть именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее, — общество. Вследствие реформы Петра Великого в России должно было образоваться общество, совершенно отдельное от массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производит общества: чтоб оно сформировалось, нужны были особенные основания, которые обеспечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно внешнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, *жалованною грамотою,* определила в 1785 году права и обязанности дворянства[17]. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характер вельможеству — единственному сословию, которое при Екатерине II-й достигло высшего своего развития и было просвещенным, образованным сословием. Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством начал возникать класс среднего дворянства. Под сло-

вом *возникать* мы разумеем слово *образовываться*. В царствование Александра Благословенного значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностью, как признак возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски, музыка и рисование тоже входили у него как необходимость в план воспитания детей. Державин, Фонвизин и Богданович — эти поэты, в свое время известные только одному двору, тогда сделались более или менее известными и этому возникающему обществу. Но что всего важнее — у него явилась своя литература, уже более легкая, живая, общественная и *светская*, нежели тяжелая, школьная и книжная. Если Новиков распространил изданием книг и журналов всякого рода охоту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу читателей, — то Карамзин своею реформою языка, направлением, духом и формою своих сочинений породил литературный вкус и создал публику. Тогда-то и поэзия вошла как элемент в жизнь нового общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на *Лизин пруд*[18], чтоб *слезою чувствительности* почтить память горестной жертвы страсти и обольщения. Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом, вкусом, остротою и грацией, имели такой же успех и такое же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого общества. Трагедии Озерова придали еще более силы и блеска этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть детьми. Вскоре появился юноша-поэт[19], который в эту сентиментальную литературу внес романтические элементы глубокого чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремления в область чудесного и неведомого и который познакомил и породнил русскую музу с музою Германии и Англии. Влияние литературы на общество было гораздо важнее, нежели как у нас об этом думают: литерату-

ра, сближая и сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни, *сословие* превратила в *общество*. Но, несмотря на то, не подлежит никакому сомнению, что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества и по преимуществу непосредственным источником образования всего общества. Увеличение средств к народному образованию, учреждение университетов, гимназий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по часам. Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России. Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле не известные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость и всем этим способствовал зарождению публичности, как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине: вследствие его исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности: явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам, — и в «Онегине» он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, то есть в двадцатых годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которою движет-

ся вперед русское общество: мы смотрим на «Онегина», как на роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени... «Герой нашего времени» был новым «Онегиным»; едва прошло четыре года,— и Печорин уже не современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки «Онегина» суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом — «старó»; но разве вина поэта, что в России все движется так быстро? — и разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в «Онегине» ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени,— это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество; в таком случае что ж бы это была за поэма и стоило ли бы говорить о ней?..

Мы уже коснулись содержания «Онегина»; обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя,— в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин — отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II); Онегин — светский человек. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений. Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Одоевский, граф Соллогуб,— мы любим литературное изображение большого света так же, как и изображение всякого другого света и не-света, с талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть большого света: именно, когда изображают его сочинители, которым должны быть гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не

смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь каких вам угодно убеждений,— светскость вас не испортит, а только улучшит. Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, самые святые чувства приносятся в жертву расчету и приличиям. Правда; но разве в среднем кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разум не приносятся в жертву расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет! Вся разница среднего света от высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства, ломания, мелкого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят: в светской жизни много дурных сторон. Правда; а разве в несветской жизни — одни только хорошие стороны? Говорят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не были светскими людьми. Правда; но они не были и ни купцами, ни мещанами — они были просто людьми, так же точно, как и Байрон — аристократ и светский человек — своим вдохновением более всего обязан был тому, что он был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях против страшного для них невидимки — большого света, и вот почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского человека[20]. И что же тут дурного? Высший круг общества был в то время уже в апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским — этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Лариных; но образованность еще более, нежели светскость, была причиною этого. Не спорим, общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина; но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко,— тем более что мы решительно неспособны поддержать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о родне. Высший круг общества в то время до того был отделен от всех других кругов, что не принадлежавшие к нему люди поневоле говорили о нем, как до Коломба во всей Европе говорили об антиподах и Атлантиде. Вследствие этого Онегин с первых же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие читатели изъявляли свое негодо-

вание на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника,—

Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?

Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во всех отношениях произведением был «Онегин» для русской публики и как хорошо сделал Пушкин, взяв светского человека в герои своего романа. К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если какой-нибудь бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика, готового умереть,— с какими слезами, с какою униженною предупредительностью будет он ухаживать за дядюшкою,— хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ними ничего не было общего. Однако ж не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым лицемерством (расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества, и светских и несветских): нет, вследствие благодетельного сотрясения всей нервной системы, произведенного видом близкого наследства, наш племянник не шутя пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг, ни с того ни с сего, выздороветь — куда бы девалась у нашего племянника родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинною горестью, и актер превратился бы в человека! Обратимся к Онегину. Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже —

. . . . равно зевал
Средь модных и старинных зал,

и между почтенным помещиком, который, в глуши своей деревни,

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил?

Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения?

Тут благодетель — не дядя, а закон, право наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, сострадающего и нежного родственника при смертном одре совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности. Если, почему бы то ни было, вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело и скучно, разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к черту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость,— в этом виден только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой и тяжелой торжественности в выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего — манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей средних кружков, напротив, манера — отличаться избытком разных глубоких чувств при всяком сколько-нибудь, *по их мнению*, важном случае. Все знают, что вот эта барыня жила с своим мужем, как кошка с собакою, и что она радехонька его смерти, и сама она очень хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не обмануть; но от этого она еще громче охает и ахает, стонет и рыдает и тем безотвязнее мучит всех и каждого описанием добродетелей покойного, счастия, каким он дарил ее, и злополучия, в какое поверг ее своею кончиною. Мало того: эта барыня готова это же самое сто раз повторять перед господином благонамеренной наружности, которого все знают за ее любовника. И что же? — как этот господин благонамеренной наружности, так и все родственники, друзья и знакомые горькой неутешной вдовы слушают все это с печальным и огорченным видом,— и если иные под рукою смеются, зато другие от души *сокрушаются*. И — повторяем — это и не глупость и не расчетливое лицемерство: это просто — принцип мещанской, простонародной морали. Никому из этих людей не приходит в голову спросить себя и других:

Да из чего же вы беснуетеся столько?[21]

Мало того: они считают за грех подобный вопрос; а если бы решились сделать его, то сами над собою расхохотались бы. Им невдогад, что если тут есть о чем грус-

тить, так это о пошлой комедии добродушного лицемерства, которую все так усердно и так искренно разыгрывают.

Чтоб не возвращаться опять к одному и тому же вопросу, сделаем небольшое отступление. В доказательство, каким важным явлением не в одном эстетическом отношении был для нашей публики «Онегин» Пушкина и какими новыми, смелыми мыслями казались тогда в нем теперь самые старые и даже робкие полумысли, — приведем из него этот куплет:

Гм! Гм! читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно *родные*.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб в остальное время года
О нас не думали они...
Итак, дай бог им долги дни!

Мы помним, что этот невинный куплет со стороны большей части публики навлек упрек в безнравственности уже не на Онегина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовестное лицемерство, о котором мы сейчас говорили? Братья тягаются с братьями об имении и часто питают друг к другу такую остервенелую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бывает ничем иным, как правом — бедному подличать перед богатым из подачки, богатому — презирать докучного бедняка и отделываться от него ничем; равно богатым — завидовать друг другу в успехах жизни; вообще же — право вмешиваться в чужие дела, давать ненужные и бесполезные советы. Где ни поступите вы, как человек с характером и с чувством своего человеческого достоинства, — везде вы оскорбите принцип родства. Вздумали вы жениться — просите совета; не попросите его — вы опасный мечтатель, вольнодумец; попросите — вам укажут невесту; женитесь на ней и будете несчастны — вам же скажут: «То-то же, братец, вот каково без оглядки-то предпринимать такие важные де-

ла; я ведь говорил»... Жéнитесь по своему выбору — еще хуже беда.— Какие еще права родства? Мало ли их! Вот, например, этого господина, так похожего на Ноздрева, будь он вам чужой, вы не пустили бы даже в свою конюшню, опасаясь за нравственность ваших лошадей; но он вам родственник — и вы принимаете его у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас именем своего родственника. Родство дает прекрасное средство к занятию и развлечению: случилась с вами беда,— и вот для ваших родственников чудесный случай съезжаться к вам, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать советы и наставления, делать упреки, а потом везде развозить эту новость, порицая и браня вас за глаза,— ведь известно: человек в беде всегда виноват, особенно в глазах своих родственников. Все это ни для кого не ново; но то беда, что все это чувствуют, но немногие это сознают: привычка к добродушному и добросовестному лицемерству побеждает рассудок. Есть такие люди, которые способны смертельно обидеться, если огромная семья родни, приехав в столицу, остановится не у них; а остановись она у них,— они же будут не рады; но, ропща, бранясь и всем жалуясь под рукою, они перед родственною семейкою будут расточать любезности и возьмут с нее слово — опять остановиться у них и вытеснить их, во имя родства, из их собственного дома. Что это значит? Совсем не то, чтобы родство у подобных людей существовало как *принцип*, а только то, что оно существует у них как *факт:* внутренно, по убеждению никто из них не признаёт его, но по привычке, по бессознательности и по лицемерству все его признают.

Пушкин охарактеризовал родство этого рода в том виде, как оно существует у многих, как оно есть в самом деле, следовательно, справедливо и истинно,— и на него осердились, его назвали безнравственным; стало быть, если бы он описал родство между некоторыми людьми таким, каким оно не существует, то есть неверно и ложно,— его похвалили бы. Все это значит ни больше ни меньше, как то, что нравственна одна ложь и неправда... Вот к чему ведет добродушное и добросовестное лицемерство! Нет, Пушкин поступил нравственно, первый сказав истину, потому что нужна благородная смелость, чтоб первому решиться сказать истину. И сколько таких истин сказано в «Онегине»! Многие из них теперь и не

новы и даже не очень глубоки; но, если бы Пушкин не сказал их *двадцать* лет назад, они теперь были бы и новы и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что он первый высказал эти устаревшие и уже неглубокие теперь истины. Он бы мог насказать истин более безусловных и более глубоких, но в таком случае его произведение было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее выражением. Гений никогда не упреждает своего времени, но всегда только угадывает его не для всех видимое содержание и смысл.

Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало: многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит — имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям. Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражаемая странность[22]
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змея воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,

И к шутке с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

Из этих стихов мы ясно видим, по крайней мере, то, что Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия и что вообще он был не из числа обыкновенных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам, чувствительность и беспечность при созерцании красот природы и при воспоминании о романах и любви прежних лет — все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то и всеми. Жизнь не обманывает глупцов; напротив, она все дает им, благо немногого просят они от нее — корма, пойла, тепла да кой-каких игрушек, способных тешить пошлое и мелкое самолюбьице. Разочарование в жизни, в людях, в самих себе (если только оно истинно и просто, без фраз и щегольства *нарядною печалью*) свойственно только людям, которые, желая «многого», не удовлетворяются «ничем». Читатели помнят описание (в VII главе) кабинета Онегина: весь Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключение из опалы двух или трех романов,

В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно

С его безнравственной душой,
Себялюбивый и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Скажут: это портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще более говорит в пользу нравственного превосходства Онегина, потому что он узнал себя в портрете, который, как две капли воды, похож на столь многих, но в котором узнают себя столь немногие, а большая часть «украдкою кивает на Петра»[23]. Онегин не любовался самолюбиво этим портретом, но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми нынешнего века. Не натура, не страсти, не заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век.

Связь с Ленским — этим юным мечтателем, который так понравился нашей публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина. Онегин презирал людей,

Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал,
И вчуже чувство уважал.

Он слушал Ленского с улыбкой.
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкий,
И вечно вдохновенный взор,—
Онегину все было ново,
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь, в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

Дело говорит само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушие Онегина как человека произо-

шли от грубой неспособности многих читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом и исчерпаем весь вопрос.

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? — Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще;
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

. . . .

Все тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малой,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет...
— Знаком он вам? — *«И да и нет»*.
— Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит;
Что ум, любя простор, теснит;
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался;
Кто черни светской не чуждался;
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов;

Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился;
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

Эти стихи — ключ к тайне характера Онегина. Онегин — не Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто — «добрый малый, как вы да я, как целый свет». Поэт справедливо называет «обветшалою модою» везде находить или везде искать все гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Онегин — добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он знает, и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как воспитан Онегин, и согласитесь, что натура его была слишком хороша, если ее не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом, подобно многим; но скоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком немногие. В душе его тлелась искра надежды — воскреснуть и освежиться в тиши уединения, на лоне природы; но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств:

Два дни ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий — рощи, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, не бездушный человек, но мы до сих пор избегали слова *эгоист*,— так как избыток чувства, потребность изящного не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин — *страдающий эгоист*. Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого разряда — люди без всяких заносчивых или мечтательных притязаний; они не понимают, как может человек любить кого-нибудь, кроме самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви к собственным их особам; если их дела идут плохо, они худощавы, бледны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники; если их дела идут хорошо, они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами делиться ни с кем не станут, но угощать готовы не только полезных, даже и вовсе бесполезных им людей. Это эгоисты по натуре или по причине дурного воспитания. Эгоисты второго разряда почти никогда не бывают толсты и румяны; по большой части это народ больной и всегда скучающий. Бросаясь всюду, везде ища то счастия, то рассеяния, они нигде не находят ни того, ни другого с той минуты, как обольщения юности оставляют их. Эти люди часто доходят до страсти к добрым действиям, до самоотвержения в пользу ближних; но беда в том, что они и в добре хотят искать то счастия, то развлечения, тогда как в добре следовало бы им искать только добра. Если подобные люди живут в обществе, представляющем полную возможность для каждого из его членов стремиться своею деятельностью к осуществлению идеала истины и блага, — о них без запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбие, заглушив в них добрые элементы, сделали их эгоистами.

Но наш Онегин не принадлежит ни к тому, ни к другому разряду эгоистов. Его можно назвать *эгоистом поневоле;* в его эгоизме должно видеть то, что древние называли «fatum»*. Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? зачем? — Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать...

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинный
Оброком легким заменил;
Мужик[24] судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос *все* решили так,
Что он опаснейший чудак.

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги,—
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все *да* да *нет*, не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самою действительностью, а не теорией; но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика; но со стороны Онегина тут еще немного было сделано. Есть люди, которым если удастся что-нибудь сделать порядочное, они

* рок, судьба (*лат.*). — *Ред.*

с самодовольствием рассказывают об этом всему миру и таким образом бывают приятно заняты на целую жизнь. Онегин был не из таких людей: важное и великое для многих для него было не бог знает чем.

Случай свел Онегина с Ленским; через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных. Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин зевает; из его разговора с Ленским мы узнаем, что он Татьяну принял за невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору, говоря, что если б он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двух невнимательных взглядов, чтоб понять разницу между обеими сестрами, — тогда как пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его возлюбленная была совсем не идеальное и поэтическое создание, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоила того, чтоб за нее рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем как Онегин зевал — *по привычке,* говоря его собственным выражением, и нисколько не заботясь о семействе Лариных, — в этом семействе его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, как Онегин, получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее,— и еще более, как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потом страстно влюбился в великолепную светскую даму? В самом деле, есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но поговорим о нем. Впрочем, признавая в этом факте возможность психологического вопроса, мы тем не менее нисколько не находим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос, почему влюбился, или почему не влюбился, или почему в то время не влюбился,— такой вопрос мы считаем немного слишком диктаторским. Сердце имеет свои законы — правда, но не такие, из которых легко было бы составить полный систематический кодекс. Сродство натур, нравственная симпатия, сходство понятий могут и даже должны играть большую роль в любви разумных существ; но кто в любви отвергает элемент чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, в оправдание несколько тривьяльной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: полю-

бится сатана лучше ясного сокола,— кто отвергает это, тот не понимает любви. Если б выбор в любви решался только волею и разумом, тогда любовь не была бы чувством и страстью. Присутствие элемента непосредственности видно и в самой разумной любви, потому что из нескольких равно достойных лиц выбирается только одно, и выбор этот основывается на невольном влечении сердца. Но бывает и так, что люди, кажется, созданные один для другого, остаются равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает свое чувство на существо нисколько себе не под пару. Поэтому Онегин имел полное право без всякого опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-девушки и полюбить Татьяну-женщину. В том и другом случае он поступил равно ни нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправдания; но мы к этому прибавим и еще кое-что. Онегин был так умен, тонок и опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим роковой пищи, что ее душа младенчески чиста, что ее страсть детски простодушна и что она нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами, то легкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны:

Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил.
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылой;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинной
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

В письме своем к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что, заметя в ней искру нежности, он не хотел ей поверить (то есть заставил себя не поверить), не дал хода милой привычке и не хотел расстаться с своей постылой свободою. Но, если он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое время он так же ясно видел и другую ее сторону. Во-первых, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до

желания отвечать на нее значило бы для Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзия страсти, то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэт, выразивший в Онегине много своего собственного, так изъясняется на этот счет, говоря о Ленском:

Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда,
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена.

Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь не много представляла ему обольстительного. Как! он, перегоревший в страстях, изведавший жизнь и людей, еще кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями,— он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию,— он увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так, как он уже не мог смотреть... И что же сулила бы ему в будущем эта любовь? Что бы нашел он потом в Татьяне? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзия и блаженство любви!..

Разлученный с Татьяною смертью Ленского, Онегин лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с людьми:

Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

Между прочим, был он и на Кавказе и смотрел на бледный рой теней, толпившийся около целебных струй Машука:

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядел на дымные струи
И мыслил, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? — Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты, один — деньгами, другой — женитьбою, третий — болезнию, четвертый — нуждою и кровавым потом работы,— видеть вокруг себя и веселье и печаль, и смех и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному жиду[25], который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о величайшем для него блаженстве; это страдание, не всем понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастия? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модною причудою. И чем естественнее, проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности, тем оно менее могло быть понято и оценено большинством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни, так изнемочь, устать, ничего не сделав,

дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения: это смерть! Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа. Встретив Татьяну на бале, в Петербурге, Онегин едва мог узнать ее: так переменилась она!

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...*

. . . .
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar**.

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно, с головы до ног охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:

. . . . . И всех выше
И нос и плечи поднимал
Вошедший с нею генерал,—

муж Татьяны представляет ей Онегина, как своего родственника и друга. Многие читатели, в первый раз читая эту главу, ожидали громозвучного *оха* и обморока со стороны Татьяны, которая, пришед в себя, по их мнению, должна повиснуть на шее у Онегина. Но какое разочарование для них!

Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...

* Благопристойности *(фр.)*.— *Ред.*
** вульгарным, пошлым *(англ.)*.— *Ред.*

У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел, нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где все наруже, все на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

. . . .

Что с ним? в каком он странном сне?
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь?

. . . .

Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь.

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:

В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Не принадлежала к числу ультраидеалистов, мы охотно допускаем в самые высокие страсти примесь мелких чувств и потому думаем, что *досада* и *суетность* имели свою долю в страсти Онегина. Но мы решительно не согласны с этим мнением поэта, которое так торжественно было провозглашено им и которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей по плечу:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и убеждены, что человек родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе,— так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот; почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном. Человечество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой все люди, как существа однородные и единым разумом одаренные, согласятся между собою в понятиях об истинном и ложном, справедливом и несправедливом, законном и преступном, так же точно, как они уже согласились, что не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца обращается, и во множестве математических ак-

сиом. До тех же пор преступление будет только по наружности преступлением, а внутренно, существенно — непризнанием справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели в своих детях своих рабов и считали себя вправе насиловать их чувства и склонности самые священные. Теперь: если девушка, чувствуя отвращение к господину благонамеренной паружности, за которого ее хотят насильно выдать, и любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают, последует влечению своего сердца и будет любить того, кого она избрала, а не того, в чей карман или в чей чин влюблены ее дражайшие родители,— неужели она преступница? Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже самое блаженство любви — что оно такое, если оно согласовано с внешними условиями? Песня соловья или жаворонка в золотой клетке. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? — торжественная песнь соловья на закате солнца, в таинственной сени склонившихся над рекою ив; вольная песнь жаворонка, который, в безумном упоении чувства бытия, то мчится вверх стрелою, то падает с неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь с места, как будто купается и тонет в голубом эфире... Птица любит волю; страсть есть поэзия и цвет жизни, но что же в страстях, если у сердца не будет воли?..

Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью; но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на чем, от души поклонилась идолу суеты — и в таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеждает: там все слишком хорошо владеют искусством быть веселыми с достоинством в то время, как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на жизнь. Благодатная натура не гибнет от

света, вопреки мнению мещанских философов; для гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько же средств, сколько и большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И теперь, в каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна — уже не мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына Задеки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей, которая много потребует, но много и даст. Ореол светскости не мог не возвысить ее в глазах Онегина: в свете, как и везде, люди бывают двух родов — одни привязываются к формам и в их исполнении видят назначение жизни,— это чернь; другие от света заимствуют знание людей и жизни, такт действительности и способность вполне владеть всем, что дано им природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и значение светской дамы только возвышало ее значение как женщины. Притом же в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой победы. И он бросился в эту борьбу без надежды на победу, без расчета, со всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его письма:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!
. . . .
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у милых ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог;
А между тем, притворным хладом
Вооружив и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас спокойным взглядом!..

Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатления. После нескольких посланий, встре-

тившись с нею, Онегин не заметил ни смятения, ни страдания, ни пятен слез на лице — на нем отражался лишь след гнева... Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать:

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит!
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных;
То сельский дом — и у окна
Сидит *она*... и все она!..

Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания и объяснения Онегина с Татьяною, потому что главная роль в этой сцене принадлежит Татьяне, о которой нам еще предстоит много говорить. Роман оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда расстается с Онегиным в самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца?— Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели, существа неопределенные, никому не понятные, даже самим себе, словом, то, что по-французски называется les êtres manques, les existencesavortées*. И эти существа часто

* неудачливые существа, неудавшиеся существования *(фр.).— Ред.*

бывают одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; обещают много, исполняют мало или ничего не исполняют. Это зависит не от них самих; тут есть fatum*, заключающийся в действительности, которою окружены они, как воздухом, и из которой не в силах и не во власти человека освободиться. Другой поэт представил нам другого Онегина под именем Печорина: пушкинский Онегин с каким-то самоотвержением отдался зевоте; лермонтовский Печорин бьется насмерть с жизнью и насильно хочет у нее вырвать свою долю; в дорогах — разница, а результат один: оба романа так же без конца, как и жизнь и деятельность обоих поэтов...

Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? — Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб не захотеть больше ничего знать...

Онегин — характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер, совершенно противоположный характеру Онегина, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе.

С душою прямо геттингенской,

. . . .

Поклонник Канта и поэт,
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

. . . .

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,

* рок, судьба *(лат.)*.— *Ред.*

Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел *разлуку* и *печаль*,
И *нечто*, и *туманну даль*,
И *романтические розы;*
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоне тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в восьмнадцать лет.

Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. Действительность на него не имела влияния: его радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу,— и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы вторым, исправленным изданием своей маменьки, что ей все равно было выйти — и за поэта, товарища ее детских игр, и за довольного собою и своею лошадью улана? — Ленский украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства и мысли, которых в ней не было и о которых она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое,— Ольга была очаровательна, как все «барышни», пока они еще не сделались «барынями»; а Ленский видел в ней фею, сельфиду, романтическую мечту, нимало не подозревая будущей барыни. Он написал «надгробный мадригал» старику Ларину, в котором, верный себе, без всякой иронии, умел найти поэтическую сторону. В простом желании Онегина подшутить над ним он увидел и измену, и обольщение, и кровавую обиду. Результатом всего этого была его смерть, заранее воспетая им в туманно-романтических стихах. Мы нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт,

Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и умом,—

но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев.

Подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении. Поэт любил этот идеал, осуществленный им в Ленском, и в прекрасных строфах оплакал его падение:

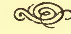
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел,
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился;
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Мы убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно последнее. В нем было много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и вовремя для своей репута-

ции умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить — значит развиваться и идти вперед. Это — повторяем — был *романтик*, и больше ничего. Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе. Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастие внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и... Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно прекрасно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца, в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Татьяна... но мы поговорим о ней в следующей статье.





Статья девятая

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

(Окончание)

Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в *немцев,*— несмотря на все это, пора нам наконец признаться, что еще и до сих пор мы — плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша готовность жить и умереть для нее до сих пор как-то театральны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не собственного нашего изобретения, а заимствованною. Чего доброго! теперь и *поштенное* купечество с бородою, от которой попахивает *маненько* капусткою и лучком, даже и оно, идя по улице с *хозяйкою,* ведет ее под руку, а не толкает в спину коленом, указывая дорогу и заказывая зевать по сторонам; но дома... Однако зачем говорить, что бывает дома? Зачем выносить сор из избы?.. Набравшись готовых чужих фраз, кричим мы и в стихах и в прозе: «женщина —

царица общества; ее очаровательным присутствием украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключением высшего светского): везде мужчины — сами по себе, женщины — сами по себе. И самый отчаянный любезник, сидя с женщинами, как будто жертвует собою из вежливости; потом встает и с утомленным видом, словно после тяжкой работы, идет в комнату мужчин, как бы для того, чтоб свободно вздохнуть и освежиться. В Европе женщина действительно царица общества: весел и горд мужчина, с которым она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот: у нас женщина ждет, как милости, чтоб мужчина заговорил с нею; она счастлива и горда его вниманием. И как же быть иначе, если то, что называется тоном и любезностью, у нас заменено жеманством, если у нас все любят поэзию только в книгах, а в жизни боятся ее пуще чумы и холеры? Как вы подадите руку девушке, если она не смеет опереться на нее, не испросив позволения у своей маменьки? Как вы решитесь говорить с нею много и часто, если знаете, что за это сочтут вас влюбленными в нее или даже и огласят ее женихом? Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду. Если вас сочтут влюбленным в нее, вам некуда будет деваться от лукавых и остроумных намеков и насмешек друзей ваших, от наивных и добродушных расспросов совершенно посторонних вам людей. Но еще хуже вам, когда заключат, что вы хотите жениться на ней: если ее родители не будут видеть в вас выгодной партии для своей дочери, они откажут вам от дома и строго запретят дочери быть любезной с вами в других домах; если они увидят в вас выгодную партию — новая беда, страшней прежней: раскинут сети, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законным браком прежде, нежели успеете опомниться и спросить себя: да как же и когда же случилось все это? Если же вы человек с характером и не поддадитесь, то наживете «историю», которую долго будете помнить. Отчего все это происходит? — Оттого, что у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, словом, оттого, что у нас нет женщины. У нас «прекрасный пол» существует только в романах, повестях, драмах и элегиях; но в действительности он разделяется на четыре разряда: на

девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто поделом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женщин, которые уже замужем. Русская девушка — не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она не что другое, как *невеста.* Еще ребенком она называет своими женихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто обещает выйти замуж за своего *папашу* или за своего *братца;* еще в колыбели ей говорили и мать и отец, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающий ее люд, что она — невеста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в леностп, в неумении держаться и тому подобных недостатках, говорит ей: «Не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уж *невеста!»* Удивительно ли после этого, что она не умеет, не может смотреть сама на себя, как на женственное существо, как на человека, и видит в себе только *невесту?* Удивительно ли, что с ранних лет до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной idée fixe:* на замужестве,— что выйти замуж — ее единственное страстное желание, цель и смысл ее существования, что вне этого она ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает и что на всякого неженатого мужчину она смотрит опять не как на человека, а только как на жениха? И виновата ли она в этом? — С восьмнадцати лет она начинает уже чувствовать, что она — не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, не радость и счастие своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая того и гляди спадет с цены и не сойдет с рук. Что же остается ей делать, если не сосредоточить всех своих способностей на искусстве ловить женихов? И тем более что только в одном этом отношении и развиваются ее способности, благодаря урокам «дражайших родителей», милых тетушек, кузин и т. д. За что больше всего упре-

* навязчивой идее *(фр.).— Ред.*

кает и бранит свою дочь попечительная маменька? — За то, что она не умеет ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошим женихам, или за то, что расточает свою любезность перед людьми, которые не могут быть для нее выгодною партиею. Чему она больше всего учит ее? — кокетничать по расчету, притворяться ангелом, прятать под мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти. И, какова бы ни была по своей натуре бедная дочь,— она невольно входит в роль, которую дала ей жизнь и в таинство которой ее так прилежно, так основательно посвящают. Дома ходит она неряхою, с непричесанною головою, в запачканном, узеньком и коротком платьишке линючего ситца, в стоптанных башмаках, в грязных, спустившихся чулках: в деревне ведь кто же нас видит, кроме дворни, — а для нее стоит ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завиделся экипаж, обещающий неожиданных гостей,— наша невеста подымает руки и долго держит их над головою, крича впопыхах: *гости едут, гости едут!* От этого руки из красных делаются белыми: *затея сельской остроты!* Затем весь дом в смятении: маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное белье надевают шерстяные или шелковые платья, пять лет назад тому шитые. О чистоте белья заботиться смешно: ведь белье под платьем, и его никто не видит, а рядиться — известное дело — надо для других, а не для себя. Но вот, рано или поздно, наконец тайные стремления и жаркие обеты готовы свершиться: кандидат-невеста уже действительная невеста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась в него только с той минуты, как поняла, что он имеет на нее виды. И ей кажется, что она действительно влюблена в него. Болезненное стремление к замужеству и радость достижения способны в одну минуту возбудить любовь в сердце, которое так давно уже раздражено тайными и явными мечтами о браке. Притом же когда дело к спеху и торопят, то поневоле влюбитесь сразу, не имея времени спросить себя, точно ли вы любите или вам только кажется, что любите... Но «дражайшие родители» учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замуж; подготовить же ее к состоянию замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сделать ее способною к выполнению этой обязанности,— они не подумали. И хорошо сделали: нет

ничего бесполезнее и даже вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, если они не подкрепляются примерами, не оправдываются, в глазах ученика, всею совокупностию окружающей его действительности. «Я вам пример, сударыня!» — беспрестанно повторяет диктаторским тоном мать своей дочери.— И дочь преспокойно копирует свою мать, готовя в своей особе свету и будущему мужу второй экземпляр своей маменьки. Если ее муж — человек богатый, он будет доволен своею женою: дом у них как полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелепо, грязно, пыльно, в беспорядке, вычищается только перед большими праздниками (и тогда в доме подымается возня, делается вавилонское столпотворение в лицах); дворня огромная; слуг бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вам чашку чаю... А недавняя невеста, теперь молодая дама?— О, она живет в «полном удовольствии»! она наконец достигла цели своей жизни, она уже не сирота, не приемыш, не лишнее бремя в родительском доме; она хозяйка у себя дома, сама себе госпожа, пользуется полною свободою, едет куда и когда хочет, принимает у себя кого ей угодно; ей уже не нужно более притворяться то невинною овечкою, то кротким ангелом; она может капризничать, падать в обмороки, повелевать, мучить мужа, детей, слуг. У ней бездна затей: карета — не карета, шаль — не шаль, дорогих игрушек вдоволь; она живет барыней-аристократкой, никому не уступает, но всех превосходит, и муж ее едва успевает закладывать и перезакладывать имение... Дитя нового поколения, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-как наблюдает в них даже какую-то получистоту, полуопрятность: ведь это комнаты для гостей, комнаты парадные, комнаты напоказ; полное торжество грязи может быть только в спальной, в детской, в кабинете мужа,— словом, во внутренних комнатах, куда гости не ходят. А у ней беспрестанно гости, возле нее беспрестанно кружок; но она пленяет гостей своих не светским умом, не грациею своих манер, не очарованием своего увлекательного разговора,— нет, она только старается показать им, что у нее всего много, что она богата, что у ней все лучшее — и убранство комнат, и угощение, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что таких, как она, немного... Содержание разговоров состав-

ляют сплетни и наряды, наряды и сплетни. Бог благословил ее замужество — что ни год, то ребенок. Как же она будет воспитывать детей своих? — Да точно так же, как сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они прозябают в детской, среди мамок и нянек, среди горничных, на лоне холопства, которое должно внушить им первые правила нравственности, развить в них благородные инстинкты, объяснить им различие домового от лешего, ведьмы от русалки, растолковать разные приметы, рассказать всевозможные истории о мертвецах и оборотнях, выучить их браниться и драться, лгать не краснея, приучить беспрестанно есть, никогда не наедаясь. И милые дети очень довольны сферою, в которой живут: у них есть фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живут дружно с первыми, ругают и колотят последних. Но вот они подросли: тогда отец делай что хочет с мальчиками, а девочек поучат прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски — и воспитание кончено; тогда им одна наука, одна забота — ловить женихов.

Но если наша невеста выйдет за человека небогатого, хотя и не бедного, но живущего немного выше своего состояния, посредством умения строгим порядком сводить концы с концами,— тогда горе ее мужу! Она в своей деревне никогда ничего не делала (потому что *барышня* ведь не *холопка* какая-нибудь, чтоб стала что-нибудь делать), ничем не занималась, не знает хозяйства, а что такое порядок, чистота, опрятность в доме,— этого она нигде не видала, об этом она ни от кого не слыхала. Для нее выйти замуж — значит сделаться барынею: стать хозяйкою — значит повелевать всеми в доме и быть полною госпожою своих поступков. Ее дело — не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всем этом? Какое имеете вы право требовать от нее, чтоб она была не тем, чем сами же вы ее сделали? Можете ли вы обвинять даже ее родителей? Разве не вы сами сделали из женщины только невесту и жену, и ничего более? Разве когда-нибудь подходили вы к ней бескорыстно, просто, без всяких видов, для того только, чтоб насладиться этим ароматом, этою гармониею женственного существа, этим поэтичес-

ким очарованием присутствия и сообщества женщины, которые так кротко, успокоительно и обаятельно действуют на жесткую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь иметь друга в женщине, в которую вы совсем не влюблены, сестру в женщине вам посторонней?— Нет! если вы входите в женский круг, то не иначе, как для выполнения обычая приличия, обряда; если танцуете с женщиной, то потому только, что мужчинам танцевать с мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое внимание, то всегда с положительными видами — ради женитьбы или волокитства. Ваш взгляд на женщину чисто утилитарный, почти коммерческий: она для вас — капитал с процентами, деревня, дом с доходом; если не это, так кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска...

Конечно, из всего этого бывают исключения; но общество состоит из общих правил, а не из исключений, которые всего чаще бывают болезненными наростами на теле общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждают собою наши так называемые «идеальные девы». Они обыкновенно страстные любительницы чтения, и читают много и скоро, едят книги. Но как и что читают они, боже великий!.. Всего достолюбезнее в идеальных девах уверенность их, что они понимают то, что читают, и что чтение приносит им большую пользу. Все они обожательницы Пушкина,— что, однако ж, не мешает им отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иные из них с удовольствием читают даже Гоголя, — что, однако ж, нисколько не мешает им восхищаться повестями гг. Марлинского и Полевого. Все, что в ходу, о чем пишут и говорят в настоящее время, все это сводит их с ума. Но во всем этом они видят свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, то есть идеальность,— видят ее даже и там, где ее вовсе нет или где она осмеивается. У всех у них есть заветные тетрадки, куда они списывают стишки, которые им понравятся, мысли, которые поразят их в книге. Они любят гулять при луне, смотреть на звезды, следить за течением ручейка. Они очень наклонны к дружбе, и каждая ведет деятельную переписку с своей приятельницею, которая живет с нею в одной деревне, а иногда и в одном доме, только в разных комнатах. В переписке (огромны-

ми тетрадищами) сообщают они друг другу свои чувства, мысли, впечатления. Сверх того, каждая из них ведет свой дневник, весь наполненный «выписными чувствами», в которых (как во всех дневниках идеальных и внутренних натур мужеска и женска пола) нет ничего живого, истинного, только претензии и идеальничанье. Они презирают толпу и землю, питают непримиримую ненависть ко всему материальному. Эта ненависть у них часто простирается до желания вовсе отрешиться от материи. Для этого они морят себя голодом, не едят иногда по целой неделе, жгут на свечке пальцы, кладут себе на грудь под платье снегу, пьют уксус и чернила, отучают себя от сна,— и этим стремлением к высшему, идеальному существованию до того успевают расстроить свои нервы, что скоро превращаются в одну живую и самую материальную болячку... Ведь крайности сходятся! Все простые человеческие, и особенно женские, чувства, как, например, страстность, способная к увлечению чувств, любовь материнская, склонность к мужчине, в котором нет ничего необыкновенного, гениального, который не гоним несчастием, не страдает, не болен, не беден,— все такие простые чувства кажутся им пошлыми, ничтожными, смешными и презренными. Особенно интересны понятия «идеальных дев» о любви. Все они — жрицы любви, думают, мечтают, говорят и пишут только о любви. Но они признают только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Брак есть профанация любви в их глазах; счастие — опошление любви. Им непременно надо любить в разлуке, и их высочайшее блаженство — мечтать при луне о предмете своей любви и думать: «Может быть, в эту минуту и *он* смотрит на луну и мечтает обо мне; так, для любви нет разлуки!» Жалкие рыбы с холодной кровью, идеальные девы считают себя птицами; плавая в мутной воде искусственной первической экзальтации, они думают, что парят в облаках высоких чувств и мыслей. Им чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», они любят только себя, они и не подозревают, что только тешат свое мелкое самолюбие трескучими шутихами фантазии, думая быть жрицами любви и самоотвержения. Многие из них не прочь бы и от замужства и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения и из идеальных дев скоро делаются самы-

ми простыми бабами; но в иных способность обманывать себя призраками фантазии доходит до того, что они на всю жизнь остаются восторженными девственницами и, таким образом, до семидесяти лет сохраняют способность к сентиментальной экзальтации, к нервическому идеализму. Самые лучшие из этого рода женщин рано или поздно образумливаются; но прежнее их ложное направление навсегда делается черным демоном их жизни и, подобно остаткам дурно залеченной болезни, отравляет их спокойствие и счастие. Ужаснее всех других те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии они создают свой идеал брачного счастия,— и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования.

Идеальными девами всех родов бывают по большей части девицы, которых развитие было предоставлено им же самим. И как винить их в том, что вместо живых существ из них выходят нравственные уроды? Окружающая их положительная действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой действительности. А между тем самобытное, не на почве действительности, не в сфере общества совершающееся развитие всегда доводит до уродства. И таким образом им предстоят две крайности: или быть пошлыми на общий манер, быть пошлыми как все, или быть пошлыми оригинально. Они избирают последнее, но думают, что с земли перепрыгнули за облака, тогда как в самом-то деле только перевалились из положительной пошлости в мечтательную пошлость. И что всего грустнее: между подобными несчастными созданиями бывают натуры, не лишенные истинной потребности более или менее человечески разумного существования и достойные лучшей участи.

Но среди этого мира нравственно увечных явлений изредка удаются истинно колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются жертвами собственного своего превос-

ходства. Натуры гениальные, не подозревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются бессознательным обществом, как очистительная жертва за его собственные грехи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы с почтенным семейством Лариных. Отец — не то чтоб уж очень глуп, да и не совсем умен; не то чтоб человек, да и не зверь, а что-то вроде полипа, принадлежащего в одно и то же время двум царствам природы — растительному и животному.

Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

Этот мир, вкушаемый под камнем, был продолжением того же самого мира, которым *добрый барин* наслаждался при жизни под татарским халатом. Бывают на свете такие люди, в жизни и счастии которых смерть не производит ровно никакой перемены. Отец Татьяны принадлежал к числу таких счастливцев. Но маменька ее стояла на высшей ступени жизни, сравнительно с своим супругом. До замужства она обожала Ричардсона, не потому, чтоб прочла его, а потому, что от своей московской кузины наслышалась о Грандисоне[1]. Помолвленная за Ларина, она втайне вздыхала о другом. Но ее повезли к венцу, не спросившись ее совета. В деревне мужа она сперва терзалась и рвалась, а потом привыкла к своему положению и даже стала им довольна, особенно с тех пор, как постигла тайну самовластно управлять мужем.

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев;
Корсет носила очень узкий,
И русский Н, как N французский,

Произносить умела в нос.
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Полину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю *Селину*
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

Словом, Ларины жили чудесно, как живут на этом свете целые мильоны людей. Однообразие семейной их жизни нарушалось гостями:

Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить и позлословить,
И посмеяться кой о чем.

. . . .

Их разговор благоразумной
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Еще был менее учен.

И вот круг людей, среди которых родилась и выросла Татьяна! Правда, тут были два существа, резко отделявшиеся от этого круга — сестра Татьяны, Ольга, и жених последней, Ленский. Но и не этим существам было понять Татьяну. Она любила их просто, сама не зная за что, частию по привычке, частию потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала им внутреннего мира души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они — люди другого мира, что они не поймут ее. И действительно, поэтический Ленский далеко не подозревал, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуре и могла ему казаться скорее странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менее Ленского могла понять Татьяну. Ольга — существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чем не рассуждало, ни о чем не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычке и которое все зависело от привычки. Она очень плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла

за улана и из грациозной и милой девочки сделалась дюжинною барынею, повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало время. Но совсем не так легко определить характер Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь ее проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюбленная, простая деревенская девушка, потом светская дама,— Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же; портрет ее в детстве, так мастерски написанный поэтом, впоследствии является только развившимся, но не изменившимся.

Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

Задумчивость была ее подругою с колыбельных дней, украшая однообразие ее жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенком она не любила кукол, и ей чужды были детские шалости; ей был скучен и шум и звонкий смех детских игр; ей больше нравились страшные рассказы в зимний вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам, и романы поглотили всю жизнь ее.

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,

При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она.

Итак, летние ночи посвящались мечтательности, зимние — чтению романов,— и это среди мира, имевшего благоразумную привычку громко храпеть в это время! Какое противоречие между Татьяною и окружающим ее миром! Татьяна — это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расселине дикой скалы,

Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчелы могли знать этот цветок или пленяться им? Разве безобразные слепни, оводы и жуки, вроде господ Пыхтина, Буянова, Петушкова и тому подобных? Да, такая женщина, как Татьяна, может пленять только людей, стоящих на двух крайних ступенях нравственного мира, или таких, которые были бы в уровень с ее натурою и которых так мало на свете, или людей совершенно пошлых, которых так много на свете. Этим последним Татьяна могла нравиться лицом, деревенскою свежестью и здоровьем, даже дикостью своего характера, в которой они могли видеть кротость, послушливость и безответность в отношении к будущему мужу — качества, драгоценные для их грубой животности, не говоря уже о расчетах на приданое, на родство и т. п. Стоящие же в середине между этими двумя разрядами людей всего менее могли оценить Татьяну. Надобно сказать, что все эти серединные существа, занимающие место между высшими натурами и чернию человечества, эти *таланты,* служащие связью *гениальности с толпою*[2], по большей части — всё люди «идеальные», под стать идеальным девам, о которых мы говорили выше. Эти идеалисты думают о себе, что они исполнены страстей, чувств, высоких стремлений; но в сущности все дело заключается в том, что у них фантазия развита на счет всех других способностей, преимущественно рассудка. В них есть чувство, но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущения и вечно толковать о них. В них есть и ум, но не свой, а вычи-

танный, книжный, и потому в их уме часто бывает много блеска, но никогда не бывает дельности. Главное же, что всего хуже в них, что составляет их самую слабую сторону, их ахиллесовскую пятку,— это то, что в них нет страстей, за исключением только самолюбия, и то мелкого, которое ограничивается в них тем, что они бездеятельно и бесплодно погружены в созерцание своих внутренних достоинств. Натуры теплые, но так же не холодные, как и не горячие[3], они действительно обладают жалкою способностью вспыхивать на минуту от всего и ни от чего. Поэтому они только и толкуют, что о своих пламенных чувствах, об огне, пожирающем их душу, о страстях, обуревающих их сердце, не подозревая, что все это действительно буря, но только не на море, а в стакане воды. И нет людей, которые бы менее их способны были оценить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человека глубоко чувствующего, неподдельно страстного. Такие люди не поняли бы Татьяны: они решили бы все в голос, что если она не дура пошлая, то очень *странное* существо и что, во всяком случае, она холодна, как лед, лишена чувства и неспособна к страсти. И как же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничем не увлекается, ничему не радуется, ни от чего не приходит в восторг, ко всему равнодушна, ни к кому не ласкается, ни с кем не дружится, никого не любит, не чувствует потребности перелить в другого свою душу, тайны своего сердца, а главное — не говорит ни о чувствах вообще, ни о своих собственных, в особенности... Если вы сосредоточены в себе и на вашем лице нельзя прочесть внутреннего пожирающего вас огня,— мелкие люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчас объявят вас существом холодным, эгоистом, отнимут у вас сердце и оставят при вас один ум, особенно если вы имеете наклонность иронизировать над собственным чувством, хотя бы то было из целомудренного желания замаскировать его, не любя им ни играть, ни щеголять...

Повторяем: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины — ровное, светлое пламя; в противном случае — упор-

ное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна. Но это только главные и, так сказать, общие черты ее личности; взглянем на форму, в которую вылилась эта личность, посмотрим на те особенности, которые составляют ее характер.

Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скрыться, никуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми, и вот почему у нас только гениальность спасает человека от пошлости. По этому же самому у нас так мало истинных и так много *книжных, вычитанных* чувств, страстей и стремлений; словом, так мало истины и жизни в чувствах, страстях и стремлениях и так много фразерства во всем этом. Повсюду распространяющееся чтение приносит нам величайшую пользу: в нем наше спасение и участь нашей будущности; но в нем же, с другой стороны, и много вреда, так же как и много пользы для настоящего. Объяснимся. Наше общество, состоящее из образованных сословий, есть плод реформы. Оно помнит день своего рождения, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существовать действительно; потому что, наконец, это общество долго составлял не дух, а покрой платья, не образованность, а привилегия. Оно началось так же, как и наша литература: копированием иностранных форм без всякого со-

держания, своего или чужого, потому что от своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были в состоянии. Были у французов трагедии: давай и мы писать трагедии, и г. Сумароков в одном лице своем совместил и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Был у французов знаменитый баснописец Лафонтен, и опять тот же г. Сумароков, по словам его современников, своими притчами далеко обогнал Лафонтена[4]. Таким же точно образом, в самое короткое время, обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Горациями, Анакреонами, Гомерами, Виргилиями и т. п. Иностранные произведения все наполнены были любовными чувствами, любовными приключениями, и мы давай тем же наполнять наши сочинения. Но там поэзия книги была отражением поэзии жизни, любовь стихотворная была выражением любви, составлявшей жизнь и поэзию общества: у нас любовь вошла только в книгу да в ней и осталась. Это более или менее продолжается и теперь. Мы любим читать страстные стихи, романы, повести, и теперь подобное чтение не считается предосудительным даже и для девушек. Иные из них даже сами кропают стишки, и иногда недурные. Итак, говорить о любви, читать и писать о ней у нас любят многие; но любить... Это дело другого рода! Оно, конечно, если с позволения родителей, если страсть может увенчаться законным браком, то почему же и не любить! Многие не только не считают этого излишним, но даже считают необходимым и, женясь на приданом, толкуют о любви... Но любить потому только, что сердце жаждет любви, любить без надежды на брак, всем жертвовать увлекающему пламени страсти — помилуйте, как можно! ведь это значит сделать «историю», произвести скандал, стать сказкою общества, предметом оскорбительного внимания, осуждения, презрения; сверх того, приличие, правила нравственности, общественная мораль... А! так вы люди сколько осторожные и благоразумно-предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачем же вы противоречите себе своею охотою к стихам и романам, своею страстью к патетической драме? — Но то поэзия, а то жизнь: зачем мешать их между собою, пусть каждая идет своею дорогою; пусть жизнь дремлет в апатии, а поэзия снабжает ее занимательными снами.— Вот это другое дело!..

Но худо то, что из этого другого дела необходимо

родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнию и поэзию нет естественной, живой связи, тогда из их враждебно отдельного существования образуется поддельно-поэтическая и в высшей степени болезненная, уродливая действительность. Одна часть общества, верная своей родной апатии, спокойно дремлет в грязи грубо-материального существования; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, из всех сил хлопочет устроить себе поэтическое существование, сочетать поэзию с жизнию. Это у них делается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзии в обществе, они берут ее из книг и по ней соображают свою жизнь. Поэзия говорит, что любовь есть душа жизни: итак — надо любить! Силлогизм верен, само сердце за него вместе с умом! И вот наш идеальный юноша или наша идеальная дева ищет, в кого бы влюбиться. По долгом соображении, в каких глазах больше поэзии,— в голубых или черных, предмет наконец избран. Начинается комедия — и пошла потеха! В этой комедии есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при луне, и отчаяние, и ревность, и блаженство, и объяснение,— все, кроме истины чувства... Удивительно ли, что последний акт этой шутовской комедии всегда оканчивается разочарованием, и в чем же? — в собственном своем чувстве, в своей способности любить?.. А между тем подобное книжное направление очень естественно: не книга ли заставила доброго, благородного и умного помещика манческого сделаться рыцарем Дон Кихотом, надеть бумажную кольчугу, взобраться на тощего Росинанта и пуститься отыскивать по свету прекрасную Дульцинею, мимоходом сражаясь с баранами и мельницами? Между поколениями от двадцатых годов до настоящей минуты сколько было у нас разных Дон Кихотов? У нас были и есть Дон Кихоты любви, науки, литературы, убеждений, славянофильства и еще бог знает чего, всего не перечесть! Выше мы говорили об идеальных девах; а сколько можно сказать интересного об идеальных юношах! Но предмет так богат и неистощим, что лучше не касаться его, чтоб совсем не потерять из виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избегла горестной участи подпасть под разряд идеальных дев, о которых мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляет собою колоссальное

исключение в мире подобных явлений,— и теперь не отпираемся от своих слов. Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие,— но это не потому, что она вовсе не походила на «идеальных дев», а потому, что ее глубокая, страстная натура заслонила в ней собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественною, простою в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность. С одной стороны —

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.

С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям,

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстию к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви; ничто другое не говорило ее душе; ум ее спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его,— да и то для того, чтоб сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Девические дни ее ничем не были заняты; в них не было своей череды труда и досуга, не было тех регулярных занятий и развлечений, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии нравственные силы человека. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят.

Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье

Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь.

И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: *это он!*
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Все полно им; все деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нем. . . . . . .
. . . .
Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Мале-Адель и де Линар,
И Вертер мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон,—
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит:
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, *себе присвоя*
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя...

Здесь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачем было воображать Онегина Вольмаром, Малек-Аделем, де Линаром и Вертером (Малек-Адель и Вертер: не все ли это равно, что Еруслан Лазаревич и корсар Байрона)?— Затем, что для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение, напрокат взятое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей воображать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной?[5] Затем, что она и саму себя так

же мало понимала и знала, как и Онегина. Повторяем: создание страстное, глубоко чувствующее и в то же время не развитое, наглухо запертое в темной пустоте своего интеллектуального существования. Татьяна как личность является нам подобною не изящной греческой статуе, в которой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобною египетской статуе, неподвижной, тяжелой и связанной. Без книги она была бы совершенно немым существом, и ее пылающий и сохнущий язык не обрел бы ни одного живого, страстного слова, которым бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувства. И хотя непосредственным источником ее страсти к Онегину была ее страстная натура, ее переполнившаяся жажда сочувствия,— все же началась она несколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленского и еще менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее экзальтированному, аскетическому воображению... И вдруг является Онегин. Он весь окружен тайною: его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушие ко всему, странность жизни — все это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее к решительному эффекту первого свидания с Онегиным. И она увидела его, и он предстал пред нею, молодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скучающий, загадочный, непостижимый, весь неразрешимая тайна для ее неразвитого ума, весь обольщение для ее дикой фантазии. Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ. Есть женщины, которым стоит только показаться восторженным, страстным, и они ваши; но есть женщины, которых внимание мужчина может возбудить к себе только равнодушием, холодностью и скептицизмом, как признаками огромных требований на жизнь или как результатом мятежно и полно пережитой жизни: бедная Татьяна была из числа таких женщин...

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,

И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальний свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит.

Разговор Татьяны с нянею — чудо художественного совершенства! Это целая драма, проникнутая глубокою истиною. В ней удивительно верно изображена *русская барышня* в разгаре томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно в первый период еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? — сестре? — но она не *так* бы поняла его. Няня вовсе не поймет; но потому-то и открывает ей Татьяна свою тайну,— или, лучше сказать, потому-то и не скрывает она от няни своей тайны.

. . . . «Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»

— И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.—
«Да как же ты венчалась, няня?»
— *Так, видно, бог велел.* Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне *тринадцать* лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
И с пеньем в церковь повели.

И вот ввели в семью чужую...

Вот как пишет истинно народный, истинно национальный поэт! В словах няни, простых и народных, без тривияльности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взгляд на отношение полов, на любовь, на брак... И это сделано

великим поэтом одною чертою, вскользь, мимоходом брошенною!.. Как хороши эти добродушные и простодушные стихи:

— И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь!

Как жаль, что именно такая народность не дается многим нашим поэтам, которые так хлопочут о народности — и добиваются одной площадной тривиальности...

Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный; но его источник не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барынею, для нее совершенно исчезла возможность таких наивно-великодушных движений сердца... Письмо Татьяны свело с ума всех русских читателей, когда появилась третья глава «Онегина». Мы вместе со всеми думали в нем видеть высочайший образец откровения женского сердца. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой задней мысли и писал·и читал это письмо. Но с тех пор много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то детскостию, чем-то «романическим». Иначе и быть не могло: язык страстей был так нов и недоступен нравственно немотствующей Татьяне: она не умела бы ни понять, ни выразить собственных своих ощущений, если бы не прибегла к помощи впечатлений, оставленных на ее памяти плохими и хорошими романами, без толку и без разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простым искренним чувством; в нем Татьяна является сама собою:

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела,
Хоть редко, хоть в неделю раз

В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне, все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья,
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Прекрасны также стихи в конце письма:

. . . . Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает;
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.

Все в письме Татьяны истинно, но не все просто: мы выписали только то, что и истинно и просто вместе. Сочетание простоты с истиною составляет высшую красоту и чувства, и дела, и выражения...

Замечательно, с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо: видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал...

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
Внушать любовь для них беда,

Пугать людей для них отрада.
Быть может, на брегах Невы
Подобных дам видали вы.

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым поведеньем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь,
По крайней мере сожаленьем,
По крайней мере звук речей
Казался иногда нежней,
И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежит за милой суетой.

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

Кокетка судит хладнокровно;
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

Вот еще отрывок из «Онегина», который выключен автором из этой поэмы и особенно напечатан в IX томе собрания его сочинений (стр. 460)[6].

О вы, которые любили
Без позволения родных
И сердце нежное хранили
Для впечатлений молодых,
Для радости, для неги сладкой —
Девицы! если вам украдкой
Случалось тайную печать
С письма любезного срывать,
Иль робко в дерзостные руки
Заветный локон отдавать,
Иль даже молча дозволять
В минуту горькую разлуки
Дрожащий поцелуй любви,
В слезах, с волнением в крови,—

Не осуждайте безусловно
Татьяны *ветреной* (?!) моей;
Не повторяйте хладнокровно
Решенья чопорных судей.
А вы, *о девы без упрека!*
Которых даже речь порока
Страшит сегодня, как змея,—
Советую вам то же я.
Кто знает? пламенной тоскою
Сгорите, может быть, и вы —
И завтра легкий суд молвы
Припишет модному герою
Победы новой торжество:
Любви вас ищет божество.

Только едва ли найдет, прибавим мы от себя, прозою. Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом — и в чем же? — в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование — что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом!.. Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подобию женщины. И всего грустнее в этом — то, что перед женщинами в особенности старается он оправдать свою Татьяну... И зато с какою горечью говорит он о наших женщинах везде, где касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Как выдается вот эта строфа в первой главе «Онегина»:

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он.

И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама;
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор,
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин.

Эта строфа невольно приводит нам на память следующие стихи, не вошедшие в поэму и напечатанные особо (т. IX, стр. 190):

Мороз и солнце — чудный день!
Но нашим дамам, видно, лень
Сойти с крыльца и над Невою
Блеснуть холодной красотою:
Сидят — напрасно их манит
Песком усыпанный гранит.
Умна восточная система,
И прав обычай стариков:
Они родились для гарема
Иль для неволи . . . .[7]

Но и на Востоке есть поэзия в жизни, страсть закрадывается и в гаремы... Зато у нас царствует строгая нравственность, по крайней мере внешняя, а за нею иногда бывает такая непоэтическая поэзия жизни, которою, если воспользуется поэт, то, конечно, уж не для поэмы...

Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на все черты высокого художественного мастерства, в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей статье не было бы конца. Но мы считаем это излишним, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее в ней у всякого на памяти. Мы предположили себе другую цель: раскрыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает. На этот раз предмет нашей статьи — характер Татьяны, как представительницы русской женщины. И потому пропускаем всю четвертую главу, в которой главное для нас — объяснение Онегина с Татьяною в ответ на ее письмо. Как подействовало на нее это объяснение — понятно: все надежды бедной девушки рушились, и она еще глубже затворилась в себе для внешне-

го мира. Но разрушенная надежда не погасила в ней пожирающего ее пламени: он начал гореть тем упорнее и напряженнее, чем глуше и безвыходнее. Несчастие дает новую энергию страсти у натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится исключительность их положения; они любят свое горе, лелеют свое страдание, дорожат им, может быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы они своим счастием, если бы оно выпало на их долю... И притом в глухом лесу нашего общества, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое существо, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее воображение и обратить огонь ее души на другой предмет? Вообще несчастная, неразделенная любовь, которая упорно переживает надежду, есть явление довольно болезненное, причина которого, по слишком редким и, вероятно, чисто физиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзальтации фантазии слишком развитой на счет других способностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происходящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его иногда еще сильнее, нежели страдания, корень которых в самом сердце. Картина глухих, никем не разделенных страданий Татьяны изображена, в пятой главе, с удивительною истиною и простотою. Посещение Татьяною опустелого дома Онегина (в седьмой главе) и чувства, пробужденные в ней этим оставленным жилищем, на всех предметах которого лежал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего его хозяина, — принадлежит к лучшим местам поэмы и драгоценнейшим сокровищам русской поэзии. Татьяна не раз повторила это посещение,—

И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них;
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

. . . .

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать

Осуждена судьбою властной...

. . . .
Ужель загадку разрешила,
Ужели *слово* найдено?..

Итак, в Татьяне наконец совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви. Но поняла ли она, в чем именно состоят эти другие интересы и страдания, и, если поняла, послужило ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою и телом, чтоб понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скорбей если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть, и если жить жизнию сердца, то про себя, во глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвященной тоске и рыданиям. Посещения дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина. В предшествовавшей статье мы уже говорили о письме Онегина к Татьяне и о результате всех его страстных посланий к ней.

. . . . В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видит, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...

Теперь перейдем прямо к объяснению Татьяны с Онегиным. В этом объяснении все существо Татьяны выразилось вполне. В этом объяснении высказалось все, что составляет сущность русской женщины с глубокою натурою, развитою обществом,— все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искреннего чувства, и чистота и святость наивных движений благородной натуры, и резонерство и оскорбленное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которую замаскирована рабская боязнь общественного мнения, и хитрые силлогизмы ума, светскою моралью парализировавшего великодушные движения сердца... Речь Татьяны начинается упреком, в котором высказывается желание мести за оскорбленное самолюбие:

Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее, нас
Судьба свела, и *так смиренно*
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? Одна суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И ныне — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодной
И эту проповедь...

В самом деле, Онегин был виноват перед Татьяною в том, что он не полюбил ее *тогда*, как она была *моложе* и *лучше* и любила его! Ведь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вот понятия, заимствованные из плохих сентиментальных романов! Немая деревенская девочка с детскими мечтами — и светская женщина, испытанная жизнию и страданием, обревшая слово для выражения своих чувств и мыслей: какая разница! И все-таки, по мнению Татьяны, она более способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что тогда она была моложе и лучше!.. Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина! А этот упрек, что тогда она нашла со стороны Онегина одну суровость? «Вам была не новость смиренной девочки любовь?» Да это уголовное преступление — не подорожить

любовию нравственного эмбриона!.. Но за этим упреком тотчас следует и оправдание:

. . . . *Но вас*
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

Основная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении, что Онегин потому только не полюбил ее тогда, что в этом не было для него очарования соблазна; а теперь приводит к ее ногам жажда скандалезной славы... Во всем этом так и пробивается страх за свою добродетель...

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна;
Что муж в сраженьях изувечен;
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б *обидной* страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? *какая малость!*
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом!

В этих стихах так и слышится трепет за свое доброе имя в большом свете, а в следующих затем представляются неоспоримые доказательства глубочайшего презрения к большому свету... Какое противоречие! И что всего грустнее, то и другое истинно в Татьяне...

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

Повторяем: эти слова так же непритворны и искренни, как и предшествовавшие им. Татьяна не любит света и за счастие почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она в свете — его мнение всегда будет ее идолом, и страх его суда всегда будет ее добродетелью...

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.

Последние стихи удивительны — подлинно конец венчает дело! Этот ответ мог бы идти в пример классического «высокого» (sublime) наравне с ответом Медеи: moi!* и старого Горация:[8] qu'il mourût!** Вот истинная гордость женской добродетели! Но я другому *отдана,*— именно *отдана,* а не *отдалась!* Вечная верность — *кому* и в *чем?* Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любо-

* я! *(фр.) — Ред.*
** пусть он умрет! *(фр.) — Ред.*

вию, в высшей степени безнравственны... Но у нас както все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, любовь — и брак по расчету, жизнь сердцем — и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренно ежечасно нарушаемых... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца; любить — значит для нее жить, а жертвовать — значит любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила нам Веру в «Герое нашего времени», женщину, слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую в своей слабости. Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая: против этой истины не может быть никакого спора; но в Вере этот грех выкупается страданием от сознания своей несчастной роли. И как бы могла она поступить решительно в отношении к мужу, когда она видела, что тот, кому она всю себя пожертвовала, принадлежал ей не вполне и, любя ее, все-таки не захотел бы слить с нею своё существование? Слабая женщина, она чувствовала себя под влиянием роковой силы этого человека с демонической натурою и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ее по своей натуре и по характеру, не говоря уже об огромной разнице в художественном изображении этих двух женских лиц: Татьяна — портрет во весь рост; Вера — не больше как силуэт. И, несмотря на то, Вера — больше женщина... но зато и больше исключение, тогда как Татьяна — тип русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившие жизнь и женщину по повестям Марлинского, требуют от необыкновенной женщины презрения к общественному мнению. Это ложь: женщина не может презирать общественного мнения, но может им жертвовать скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на себя, повинуясь другому высшему закону — закону своей натуры, а ее натура — любовь и самоотвержение...

Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его! Мы не говорим о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму и довершающих собою

картину русского общества высшего и среднего; не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов: все это так известно нашей публике и так давно оценено ею по достоинству... Заметим одно: личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною, но в то же время по преимуществу артистическою. Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование... Вспомните описание семейства Лариных во второй главе и особенно портрет самого Ларина... Это было причиною, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся...

«Онегин» писан был в продолжение нескольких лет,— и потому сам поэт рос вместе с ним, и каждая новая глава поэмы была интереснее и зрелее. Но последние две главы резко отделяются от первых шести: они явно принадлежат уже к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта[9]. О красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно, притом же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с Ленским и весь конец шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем, что хвалить особенно, потому что в них все превосходно; но первая половина седьмой главы (описание весны, воспоминание о Ленском, посещение Татьяною дома Онегина) как-то особенно выдается из всего глубокостию грустного чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такою любящею, такою гуманною. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно

назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!.. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным... Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор... Эти строфы, которые так и просятся в заключение нашей статьи, своим непосредственным впечатлением на душу читателя лучше нас выскажут то, что бы хотелось нам высказать:

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И к ней привязан мало я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда;
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить,
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет

Строфа, слагаемая мной;
Быть может,— лестная надежда! —
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!



ПРИМЕЧАНИЯ

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ

Впервые — «Отечественные записки», 1844, т. XXXVII, № 12, отд. V «Критика», с. 45—72 (ц. р. 30 ноября; вып. в свет 1 декабря). Без подписи. Вошло в КСсБ*, ч. VIII, с. 509—565.

Как уже говорилось, роману Пушкина «Евгений Онегин» посвящены две статьи: восьмая и девятая. Роман вызывал многочисленные отклики современников как по мере публикации его глав, так и тогда, когда, в 1833 году, он был напечатан отдельным изданием. Все эти отклики, в высшей степени противоречивые, отражали противоречивость и неустойчивость, «переходность» самого эстетического сознания эпохи. Однако при всех противоречиях и разногласиях эти разные приговоры «суда современников» объединяло одно — непонимание гениального новаторства, оригинальности и подлинного смысла и значения пушкинского произведения. Поэтому в конечном счете оказались весьма сходными суждения о «Евгении Онегине» таких антиподов, как Полевой и Надеждин, поэтому за внешней «пустотой» не уловил всей глубины характера Онегина столь чуткий ценитель пушкинской поэзии, как И. Киреевский (в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина», правда, написанной в 1828 г., еще до окончания публикации всего романа).

Первые шесть глав пушкинского романа, относимые Белинским к «средней эпохе» поэтического развития Пушкина, были приняты критикой в общем, за некоторыми исключениями, благожелательно, если не сказать восторженно. «Разочарование» наступило после публикации, в марте 1830 года, главы седьмой, по Белинскому, открывающей высший — художественный этап в

* КСсБ — Белинский В. Г. Соч., ч. I—XII. М., изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859—1862 (составление и редактирование издания осуществлено Н. Х. Кетчером).

пушкинском творческом развитии. На публикацию седьмой главы сразу же откликнулись Полевой и Надеждин.

Полевой, писавший о народности «Евгения Онегина» тогда, когда появилась лишь первая глава романа, теперь, в рецензии на седьмую главу, в сущности, пересматривает это свое мнение, незадолго до того обнаружив «новое» для Пушкина, а именно «народность» лишь в «Полтаве». Пафос, свойственный прежним высказываниям Полевого о Пушкине, исчезает: «Первая глава «Онегина» и две-три, следовавшие за нею, нравились и пленяли, как превосходный опыт поэтического изображения общественных причуд <...>. Но опыт все еще продолжается, краски и тени одинаковы, и картина все та же. Цена новости исчезла — и тот же Онегин нравится уже не так, как прежде». Но почему же? Полевой отвечает следующим образом: «Онегин» есть собрание отдельных бессвязных заметок и мыслей о том о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составит ничего, имеющего свое отдельное значение. «Онегин» будет поэтический Лабрюер, рудник для эпиграфов, а не органическое существо, которого части взаимно необходимы одна для другой». И далее Полевой предлагает Пушкину «перейти в русский мир, углубиться в отечественное» (!). Тогда он «сделался бы высоким, оригинальным поэтом» (Московский телеграф, 1830, №-6, с. 239—240, 241, 243).

Рецензируя отдельное издание «Евгения Онегина» 1833 года, Полевой утверждает, что «Евгений Онегин» оставался задачею нерешенною и остался ею доныне» именно потому, что «о нем хотели рассуждать как о произведении полном, а поэт и не думал о полноте». «Спрашиваем: какая общая мысль остается в душе после «Онегина»? Никакой <...> ...при создании «Онегина» поэт не имел никакой мысли; начавши писать, он не знал, чем кончить, и, оканчивая, мог писать еще столько же глав, не вредя общности сочинения, потому что ее нет» (Московский телеграф, 1833, № 6, с. 238, 239).

Суждения Надеждина о седьмой главе «Евгения Онегина» были более сдержанны, чем его почти издевательские нападки на «Полтаву» и «Графа Нулина». «Стихотворный талант Пушкина есть сокровище неподдельное», но «ему не дано видеть и изображать природу поэтически — с лицевой ее стороны, под прямым углом зрения: он может только мастерски выворачивать ее наизнанку. Следовательно — он не может нигде блистать как только в — *арабесках*. «Руслан и Людмила» представляет прекрасную галерею физических *арабесков*. «Евгений Онегин» есть *арабеск мира нравственного...*» Пушкину следует только быть самим собою, или, как выражается Надеждин, «ввалиться в свою колею»,

а именно: «*Разбайрониться* добровольно и добросовестно! Сжечь «Годунова» и — докончить «Онегина». И, как бы сговорившись со своим литературным противником, Полевым, Надеждин рассуждает о пушкинском романе как «неудачной раме», в которую вставлены «прелестные картинки» (Вестник Европы, 1830, № 7, с. 200, 202, 223).

И это, в сущности, все, что могла сказать современная Пушкину критика о «Евгении Онегине»!

В конце тридцатых — начале сороковых годов дело обстояло не лучше. В 1839 году на страницах журнала «Галатея» появился цикл статей, в которых автор — вероятно, им был издатель журнала С. Е. Раич, пытался оживить легенду о «литературном аристократизме» Пушкина, находя аристократические пристрастия прежде всего в пушкинском романе. «Это роман,— говорилось в одной из статей названного цикла,— в котором более или менее отражается общество, современное Пушкину, разумеется, общество аристократическое. <...> Жаль, что поэт наш почти исключительно ограничился одним только высшим сословием; он много нашел бы поэзии в низших слоях общества, ближайшего к природе...» В следующей своей статье о Пушкине Раич заявил, что он вовсе не мировой поэт, «а поэт русский и по преимуществу поэт так называемого большого света, или, что все равно, поэт будуарный...» (Галатея, 1839, № 23, с. 420; № 29, с. 192)[1].

Реакционная тенденция, наметившаяся в скрытой форме в статьях Раича, усилилась, приобрела характер политического доноса в журнале «Маяк», обвинившем Пушкина в опасной «подражательности». Автор «Обзора стихотворений А. Пушкина...» А. Мартынов прямо писал, что в «Евгении Онегине» «повсеместно проявляется подражание, облик западного мудрования, русского же духа и слухом не слыхано и видом не видано» (Маяк, 1843, кн. XVII, с. 12).

Таков был тот литературно-критический фон, который предшествовал созданию восьмой и девятой статей пушкинского цикла. В этих статьях Белинский учел и вместе с тем решительно отмел и отверг все те мелкие и плоские толкования пушкинского романа, которыми грешила критика с момента появления его первой главы и вплоть до публикации статей Белинского. Полемический аспект статей о «Евгении Онегине», созданных Белин-

---

[1] На упомянутые статьи журнала «Галатея» Белинский ответил в 1840 году в рецензии на «Пантеон русского и всех европейских театров» (см.: Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 3, с. 406).

ским, постоянно в них ощущается, и раскрытие его позволяет понять истинный смысл и истинную цену конгениального пушкинскому роману литературно-критического анализа.

Развив в первых статьях цикла основную свою мысль о Пушкине как создателе поэзии-художества, Белинский именно в статьях о «Евгении Онегине» показывает, как присущий Пушкину-художнику такт действительности ведет его к созданию романа в стихах — «энциклопедии русской жизни», истинно национально-русского произведения.

Именно Пушкин сумел увидеть поэзию в русской жизни, в жизни современного русского общества. До Пушкина русская поэзия главным образом осваивала опыт мировой поэзии, находя, так сказать, уже готовое поэтическое содержание в явлениях и фактах инонациональных культур, или, в крайнем случае, русской истории. Белинский ставит себе цель: «раскрыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает».

Каково же то содержание современной русской жизни, которое делает поэзию национальной? Это содержание должно быть «взято из жизни сословия, создавшегося по реформе Петра Великого и усвоившего себе формы образования быта», ибо именно в этом сословии («среднем дворянстве») в двадцатые годы XIX века наиболее полно проявился прогресс русской национальности, в нравственной и духовной жизни этого сословия нашла свое подлинное выражение высшая ступень национального общественного развития.

Этой общей идеей обусловлен анализ трех главных характеров пушкинского романа.

Онегин как характер «действительный», могущий найти себя лишь в действительности, оказывается в данных общественных условиях «страдающим эгоистом», «эгоистом поневоле». Этим объясняется понимание Онегина как характера «незавершенного», как «незаконченного существования», судьба которого трагична вследствие этой незаконченности. «Перемена мест», поиски и метания Онегина, его попытка найти опору в любви — все это «не изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств».

Белинский цитирует строфу из главы седьмой «Евгения Онегина» о двух или трех романах, «в которых отразился век», находя в ней полный портрет Онегина. Возможно, Белинский знал, что Пушкин, рецензируя в 1830 году в «Литературной газете» роман Б. Констана «Адольф» в переводе П. А. Вяземского, процитировал эти же строки, заключив: «Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением

лорда Байрона». Таким образом, Онегин попадал в орбиту характеров, «обнародованных» Байроном. Именно так Онегин и воспринимался современной критикой, например, И. Киреевским, сопоставлявшим в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» Онегина с Чайльд Гарольдом. Отличие пушкинского героя от героя Байрона Киреевский видел в том, что «Онегин есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное», «пустое» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., Искусство, 1979, с. 52, 53). Для Белинского сходство и различие пушкинского и байроновского героев — в другом. Сходство в том, что и здесь и там — «отразился век». Различие же в самом существе, в содержании. Белинский не согласен с теми, кто хотел бы видеть в Онегине «пародию», «москвича в Гарольдовом плаще». В этом смысле для него Онегин «добрый малый, как вы да я, как целый свет», иначе говоря — типическое явление русской жизни. Однако он далек от мысли о «ничтожестве» и «пустоте» Онегина. Атрибуты байронизма — естественная для того времени форма национально-русского содержания, пробуждения к сознательной жизни, характерного для того сословия, к которому принадлежал Онегин. Белинский, конечно, понимал, что это «пробуждение» должно перерасти в иную, новую фазу, невозможную, однако, для такого «незаконченного существования», как Онегин. Развивая по-своему эти мысли Белинского, Достоевский писал в 1861 году, полемизируя с либерально-западническими «Отечественными записками», отрицавшими народность поэзии Пушкина: «...где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни,— именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения, все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, стали осаждать русское общество и проситься в его сознание. Мы в недоумении стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как от истины, принятой нами безо всякого колебания за истину, и в то же время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и почувствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим воздухом...» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 19. Л., Наука, 1979, с. 10).

Анализируя характер Татьяны, Белинский в настоящей статье

как бы забывает о тех уничижительных эпитетах, которыми он наделил Татьяну в статье о «Полтаве», когда сравнивал ее с Марией. Дело в том, что здесь, в статье девятой, он рассматривает Татьяну как социально-исторический тип, как явление русской жизни. Все общественное бытие такого характера, каков характер Татьяны, противоречиво. С одной стороны: «Вся жизнь ее проникнута той целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения». С другой же стороны: «Какое противоречие между Татьяной и окружающим ее миром!» В трактовке Белинского Татьяна — «истинно колоссальное исключение» из этого окружающего мира, исключение, содержащее, однако, типическое обобщение судьбы русской женщины и вместе с тем пророчество.

Белинский дает великолепный социально-психологический этюд о положении русской женщины, противопоставляя «фатуму» ее социальной судьбы идеал женщины в духе жоржсандовского утопизма, в духе своих нравственно-просветительских идеалов. Отсюда гневный пафос его инвектив по адресу Татьяны, которая не отдалась, а отдана, отсюда его рассуждения о «профанации чувства и чистоты женственности» и т. д. Впрочем, он возлагает вину за эту профанацию не на Татьяну, а на общество, которое пересоздало ее, которое подчинило ее цельную и чистую натуру «расчетам благоразумной морали». Татьяна не могла отдаться ложному «идеальному развитию, оторванному от действительности». Но в действительности ее ждало лишь подчинение законам столь же ложной общественной морали. В такой трактовке характера и судьбы Татьяны много правды, однако все же не вся правда. Белинский не учитывает всего глубокого смысла отношений Татьяны с Онегиным. Ведь вряд ли можно сомневаться в том, что Онегин был понят Татьяной именно как «незаконченное существование», как «скиталец» (если воспользоваться словом Достоевского), в котором ее цельность не находила (и не могла найти) подлинной опоры. Попросту говоря, она не поверила его любви. Потому Татьяна и «покоряется действительности как она есть».

Достаточно простым и ясным представляется Белинскому характер Ленского — типичного для эпохи «идеального» существования, «оторванного от действительности».

Сам Пушкин, по мысли Белинского, принадлежал к сословию, внутренняя жизнь которого изображена в «Евгении Онегине». Потому «Евгений Онегин» и есть самое задушевное его произведение, потому Белинский не находит в пушкинском романе противоречия, свойственного, как он полагает, некоторым другим

его произведениям — «Цыганам», «Полтаве», «Борису Годунову», противоречия между намерением, «рефлексией» и творческим, художественным гением.

[1] Об этом писал Н. Полевой в статье, приложенной к изданию сочинений Державина (1845).

[2] *«Людмила»* (1806) — переложение баллады Бюргера «Ленора».

[3] *Пегас* — в древнегреческой мифологии крылатый конь, под ударами его копыт забил чудесный источник, вода которого вдохновляла поэтов.

[4] Сюжет романа Жорж Санд «Жанна» (1844) строится на сложных психологических отношениях персонажей, представляющих разные общественные слои. Роман, выражающий утопически-социалистические идеалы писательницы, проникнут мыслью о солидарности всех людей, независимо от их социальной принадлежности. В этом Жорж Санд видит путь ко всеобщему счастью.

[5] Впервые употребив термин «славянофилы» для обозначения своих идейных противников из лагеря журнала «Москвитянин» в рецензии на «Денницу новоболгарского образования» В. Априлова, напечатанной в девятой книжке «Отечественных записок» за 1842 г., Белинский и здесь пользуется словом *славянолюбы* в таком же смысле.

[6] Цитата из «Героя нашего времени» Лермонтова (повесть «Бэла»).

[7] Джон Буль — ироническое прозвище англичанина.

[8] *Лапотно-сермяжным мнением* называл Белинский реакционно-славянофильскую, «псевдоромантическую», по его терминологии, идеализацию патриархального русского мужика, характерную для публикации журналов «Москвитянин» и «Маяк». В конце 1843 г., в рецензии на «Разные повести» (издание, составленное из повестей, печатавшихся в «Маяке»), одну из этих повестей, идиллически рисовавших крестьянский быт, Белинский назвал «клеветой на лапотную и сермяжную действительность» (см.: Белинский В. Г. Собр. соч., т. 5, с. 488). Подобную же «клевету» Белинский находил и в других формах псевдонародной литературы, в частности в упоминаемом им лубочном, предназначенном для читателя из народной среды, романе XVIII в. *«Разгулье купеческих сынков в Марьиной роще»*. К числу писателей, разделявших «лапотно-сермяжные мнения», относил Белинский М. Н. Загоскина, в романе которого «Тоска по родине» (1839) есть

сцена с пьяным русским лакеем, попавшим вместе со своим барином в Англию.

[9] Цитата из статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине».

[10] Ко времени публикации первой главы «Евгения Онегина» (февраль 1825 года) Пушкиным были написаны еще две и начата четвертая глава.

[11] *Ахилл* (Ахиллес) — храбрейший из греческих героев, воспетый Гомером в «Илиаде». *Аякс* и *Одиссей* — греческие герои, участвующие вместе с Ахиллом в осаде Трои. Странствованиям Одиссея после осады Трои по пути на родину, остров Итаку, посвящена другая эпическая поэма Гомера — «Одиссея».

[12] «Горе от ума» было впервые напечатано в 1833 г. с цензурными искажениями.

[13] Белинский развивает мысль Гоголя, высказывавшуюся им неоднократно, например, в статье «Несколько слов о Пушкине» или в «Петербургских записках 1836 года» (Современник, 1837, № 6), где Гоголь, в частности, писал: «...то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант».

[14] Строки из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

[15] Под *одним великим критиком* Белинский, вероятнее всего, подразумевает Н. Полевого, утверждавшего, будто «при создании «Онегина» поэт не имел никакой мысли», «не думал о полноте» и «общности сочинений». Нечто сходное находим и у Надеждина.

[16] Не совсем точная цитата из «Евгения Онегина» (гл. восьмая, строфа L). У Пушкина четвертый стих: «Явилися впервые мне».

[17] *Жалованная грамота* дворянству — законодательный акт правительства Екатерины II, изданный 21 апреля 1785 г. с целью упорядочения и закрепления дворянских привилегий и «прав», в частности, исключительного права на владения имениями и крепостными крестьянами. Грамотой подтверждалось декларированное манифестом о вольности дворянской Петра III (1762) освобождение дворян от обязательной военной и гражданской (чиновничьей) службы.

[18] *Лизин пруд* — так называли поклонники Карамзина пруд, расположенный в Москве близ Симонова монастыря. В нем, по преданию, утопилась героиня его повести «Бедная Лиза».

[19] *Юноша-поэт* — Жуковский.

[20] Таким «литератором», усмотревшим в Пушкине поэта «бу-

дуарного» — поэта «высшего сословия»,— был автор цикла статей о Пушкине, по-видимому, С. Е. Раич.

[21] Не совсем точная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. IV, явл. 4).

[22] У Пушкина: «Неподражательная странность».

[23] Из басни Крылова «Зеркало и Обезьяна».

[24] Цензурная замена в прижизненных и посмертном изданиях сочинений Пушкина слов: «И раб».

[25] *Вечный жид* — герой многочисленных легенд, возникших в средние века, сапожник Агасфер, будто бы осужденный богом на вечное странствование по свету за то, что не позволил Христу, изнемогавшему под тяжестью креста при восхождении на Голгофу, отдохнуть у порога своего жилища.

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ

Впервые — «Отечественные записки», 1845, т. XXXIX, № 3, отд. V «Критика», с. 1—20 (ц. р. 28 февраля; вып. в свет 1 марта). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. VIII, с. 565—607.

[1] Пересказ строки из «Евгения Онегина» (гл. третья, строфа XXXIX).

Грандисон — герой романа английского писателя С. Ричардсона «История сэра Чарльза Грандисона».

[2] Идея о различии гениальности и талантливости, об исторической роли гения и таланта была развита в статье десятой пушкинского цикла, посвященной Борису Годунову — историческому и пушкинскому. Мысль об отношениях гения и таланта легла в основу трактовки Белинским «Моцарта и Сальери» (статья одиннадцатая). В конце 1845 г. проблему гения и таланта в искусстве Белинский рассмотрел в статье «О жизни и сочинениях Кольцова» (см.: Белинский В. Г. Собр. соч., т. 7).

[3] Реминисценция из Апокалипсиса, III, 15—16.

[4] Притчи Сумарокова поставил выше притч Лафонтена Н. И. Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (см.: Белинский В. Г. Собр. соч., т. 6, с. 85, где Белинский цитирует соответствующее место «Опыта...»).

[5] *Вольмар* и *Юлия* — герои романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»; *Малек-Адель* — герой романа М. Коттен «Матильда, или Крестовые походы»; *Де Линар* — герой романа В.-Ю. Крюднер «Валерия»; *Вертер* — герой романа И.-В. Гете «Страдания юного Вертера»; *Кларисса* — героиня романа Ричард-

сона «Кларисса Гарлой, или История молодой леди»; *Дельфина* — героиня одноименного романа французской писательницы А.-Л.-Ж. Сталь.

[6] Приводимые далее Белинским две строфы, следовавшие в беловой рукописи главы третьей за строфой XXIV, были исключены Пушкиным из текста при публикации.

[7] Строфа VIII так называемого «Альбома Онегина», имевшегося в беловой рукописи главы седьмой, но не включенного Пушкиным в печатный текст.

[8] Слова героев трагедий великого французского драматурга XVII в. П. Корнеля — Медеи («Медея», д. I, явл. 5) и старого Горация («Гораций», д. III, явл. 6). В школьных руководствах по поэтике эти реплики считались образцом «высокого».

[9] Главы первая — шестая писались с 1823 по 1826 г., публиковались с 1825 по 1828-й. Глава седьмая была начата осенью 1827 г. и аакончена в ноябре следующего, напечатана в марте 1830-го. Глава восьмая начата в конце 1829 г. и в основном закончена в сентябре 1830-го. Письмо Онегина Татьяне написано 5 октября 1831 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Белинский В. Г.

В43 Сочинения Александра Пушкина/Примеч. К. И. Тюнькина.— М.: Сов. Россия, 1984.— 96 с.

В книгу вошли статьи восьмая и девятая «Евгений Онегин».

Б $\frac{4803010101-242}{М-105(03)84}$ 219—84 **Р1**

Для детей старшего школьного возраста

Виссарион Григорьевич Белинский

СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Редактор Г. В. Озерова
Художественный редактор М. В. Таирова
Технический редактор Е. В. Кузьмина
Корректор Л. В. Конкина

ИБ № 3842

Сд. в наб. 05.12.83. Подп. в печ. 31.01.84. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 3. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,36. Уч.-изд. л. 5,39. Тираж 1 300 000 экз. (3-й завод 800 001—1 300 000 экз.) Заказ № 1288. Цена 20 к. Изд. инд. ЛД-534.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012, Москва, проезд Сапунова, д. 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

20 к.

·Советская Россия·